

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

ИМЕНИННЫЙ ШИРОГ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1955



П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

ИМЕНИННЫЙ ПИРОГ

Печатается по изданию:
Рассказы Андрея Печерского (П. И. Мельникова),
Москва 1876

КРАСИЛЬНИКОВЫ

Из дорожных записок

I

В уездном городе С. остановились мы посмотреть на известные кожевенные заводы Красильниковых. Нетрудно было отыскать дом богатого заводчика: каменный, двухэтажный, лучший во всем городе, стоит он недалеко от древнего собора, обезображенного пристройками в «новейшем» вкусе.

В верхнем жилье, в окнах с цельными зеркальными стеклами, стояли незатейливые гипсовые изображения Вольтера¹, Суворова, поднявшей чуть не выше головы правую ногу Тальони², зеленого попугая с коричневым носом и разноцветной кошки с головой, качавшейся при малейшем прикосновенье. В среднем окне виднелись дорогие бронзовые часы, а стекла других залеплены были вырезанными из цветной бумаги подобиями лошади и чего-то вроде буквы Ф, с раздвоенным нижним концом и трехуголкой с перьями наверху. В нижнем жилье в окна вделаны были толстые железные решетки, а стекла сплошь выбиты. На цоколе красным карандашом в несколько рядов писаны бирочные знаки: кресты, кружки, черточки — открытая на весь мир расходная книга приказчика, отпускавшего кому-то опойки.

Ворота были заперты. Я стукнул тяжелым железным кольцом о дубовое полотно калитки: раздался сиплый

¹ Вольтер Франсуа Мари (1694—1778) — французский писатель и философ, просветитель. В своих произведениях подверг резкой критике феодальную идеологию, католицизм, религиозный фанатизм.

² Тальони (1804—1884) — итальянская танцовщица.

лай цепной дворняжки, и в подворотне показались три собачьи морды, скаля зубы и заливаясь глухим ревом. Щеколда изнутри стукнула, и краснолицая, курносая девка-чернавка, вершков одиннадцати в отрубе, одетая в засаленный московский сарафан из ивановского ситца, просунулась до половины и опросила нас:

— Кого вам надоть?

— Корнила Егорыч дома?

— А отдыхает: сейчас пообедамши.

— Когда его можно застать?

— А не знаю же я... Да вы откелева будете?

— Из П...

Я назвал губернский город.

— По кожу аль по сало?

— Нет... Так нужно хозяина повидать. Когда застать-то?

— Не веду. Спросать разве Марью Андревну, коль не започивала.

Заперла девка-чернавка калитку, ушла. Воротясь минут через пять, сказала:

— В вечерню приходите, не то завтра после ранней обедни.

— Ну, завтра так завтра.

Мы с путевым товарищем хотели было идти на постоялый двор, где остановились за неимением в С. гостиницы; но девка-чернавка еще раз опросила нас, должно быть, для удовлетворения собственного любопытства:

— А сами-то вы из каких будете? Приказчики, что ли, чьи?

— Нет, не приказчики.

— Кто же вы?

— Чиновные.

— Из судов?

— От губернатора.

Это слово имело чародейную силу: не прошли мы ста сажень, как за нами послышались крики:

— Обождите-ка, воротитесь-ка! Корнила Егорыч вас кликнуть велел.

Босоногая девка-чернавка бежала во всю прыть. Ее перегоняли собаки, одна вцепилась в полу моего спутника.

— Лыска! Лыска! цыма-те! Экой пострел, кабан проклятый! — кричала изо всей мочи девка-чернавка.

И схватив валявшуюся на улице слегу, принялась колотить направо и налево косматых стражей Корнилы Егорыча. Собаки завизжали и побежали домой. Путеводимые спасительницей от их ярости, взошли мы на двор Красильникова, обошли парадное крыльцо, где обглоданные мослы и сбитое сено указывали на жительство врагов наших, и теперь еще исподтишка бросавшихся под ноги. Обогнув угол дома, по заднему крыльцу взошли мы наверх, нагибаясь под протянутыми веревками, развешанными для просушки белья. По всему двору крепко пахло дегтем и кожей.

Темными закоулками провела нас девка-чернавка в обширную комнату — в «залу» и, молвив, что хозяин сейчас выйдет, ушла.

По убранству комнаты видно было, что Корнила Егорыч человек домовитый и, разбогатеv, из кожи лез, чтоб на славу украсить жилище свое: денег не жалел, все покупал без разбору, платил втридорога, и все не впопад. Отделал стены под мрамор, раззолотил карнизы, настлал дубовый мелкоштучный паркет, покрыл его шелковыми коврами, над окнами развесил бархатные занавесы, а на стену наклеил литографию Василья Логинова, в углу повесил клетку с перепелом, а на окнах между кактусом и гелиотропом в полуразбитых чайниках поставил стручковый перец да бальзамин. Мебель в гостиной за дорогую цену куплена была в Петербурге да еще наперебой с каким-то вельможей, но сшитые из поношенного холста с крашенинными заплатами чехлы снимались с нее только в светлое воскресенье да в хозяйские именины. В великолепных лампах, расставленных по столам и по углам, масла сроду не бывало, да во всем С. и зажигать-то их тогда еще никто не умел.

Непривычно Корниле Егорычу ходить по мелкоштучному паркету, не умеет он ни сесть, ни стать в комнатах, строенных не на житье, а людям напоказ, робеет громко слово сказать ввиду дорогих своих мебели. Душно ему в своем доме, сбывась над ним пословица: «своя воля страшней неволи». Осторожно пробираясь меж затейливыми диванами и креслами, ровно изгнанник, бежит Корнила Егорыч из раззолоченных палат в укромный уголок, чужому человеку недоступный. Там на теплой изразцовой лежанке ищет он удобств, каких не сыскать в разубранных комнатах. Вот у лежанки стоит сосновый,

крепкой водкой травленный стол под ярославской салфеткой; на нем счетная книга, псалтырь и «Московские ведомости»¹; у стола стул-складень: привык к нему Корнила Егорыч, еще сидя мальчишкой в чужой лавке. Вот двуспальная кровать с пуховиком чуть не до потолка и с дюжиной подушек: крепко спится на ней Корниле Егорычу. Вот кафельная печь с поливными фигурами балахонской работы: ровно баню, греет она заветный угол хозяина и приглядней ему беломраморных стен залы и бархатных обоев гостиной. А часов с кукушкой, что повешены против кровати, не отдаст он за две дюжины дорогих часов, что на мраморном подставе красуются у среднего окна гостиной. Добровольно, но подчас с досадой, жметя Корнила Егорыч в тесной мурье — хватил бы все по боку и зажил бы, как хочется — да нельзя!.. Как от людей отстать? Попал в стаю — лай не лай, а хвостом виляй... Еще скрягой прозовут. Зато раз отдана была у него квартира для губернатора. На прощанье генерал сказал хозяину: «Ну, Корнила Егорыч, домик-то у тебя на славу отделан — мебель хоть во дворец». И счастлив и доволен был Корнила Егорыч и сторожей вознагражден за досадные минуты, когда, проходя бочком мимо дорогих мебели, думает сам про себя: «И на какой шут, прости господи, такие стулья наделаны? Сесть порядком нельзя — без сноровки провалишься совсем».

Не странно в зале Корнилы Егорыча встретить и логиновскую литографию, и стручковый перец, и перепела в клетке из лутошек. Дороги они хозяину, добровольному заточеннику в золотой тюрьме своей. Вспоминали они ему бывшее, бедное, но свободное от несродного житья-бытья время — время молодости, когда жилось веселей, а на свете божьем было просторней, и все смотрело ясней и радостней. Кроме перепела да перца, остальное было чуждо, несродно хозяину, здесь ему и свое не свое, здесь и сам он ровно на выставке — миру напоказ. Ничего для себя, все для чужих; даже гипсовых Вольтера с попугаем поставил он передом на улицу.

По лицу вышедшего к нам Корнилы Егорыча видно было, что могучее слово «от губернатора» оторвало его

¹ «Московские ведомости» — газета (выходила с 1756 по 1917 год); в 1850—1855 годах была либерального направления.

от дорогой лежанки. Заметно было, что одевался он наскоро, золотых медалей, однакож, не забыл надеть. Это был широкоплечий старик среднего роста, волосы совсем почти белые, борода маленькая, клином, глаза подслеповатые, но живые, выразительные. По суровому облику его видно было, что это старик своеобразный, крутой; а россыпью глядевшие глаза обличали в нем человека, что всякого проведет и выведет. Но в этом хитром, бегающем взоре крылась какая-то грусть затаенная. Туманилось лицо Корнилы Егорыча горем душевным, еще не выношенным, не выстраданным. День меркнет ночью, человек печалью, а горе, что годы, борозды по лицу проводит. Казалось, и Корниле Егорычу не годы убелили голову, а душевное горе. Оно не молодит, а косицу белит.

— Покорно просим,— сказал Корнила Егорыч.— Извините, позадержал: соснуть было прилег.

И при воспоминанье о лежанке зевнул, набожно перекрестив рот. Мы извинились, что потревожили его, сказали свои имена и показали открытый лист начальника губернии, где было сказано, что приехали мы из Петербурга от министра внутренних дел для собрания статистических сведений. После того я попросил хозяйского дозволения взглянуть на его кожевенный завод.

Без чашки чаю, без рюмки вина, без закуски от русского купца старого закала никому не уйти. Старинное хлебосольство не чуждо было и Корниле Егорычу. На столах появились вино, закуска, разные сласти. Приказчик, стриженный в скобку, в длиннополой суконной сибирке с борами назади и с сильным запахом кожи, подал чай. Речь шла про торговлю.

— Кожа плохо пошла,— говорил Корнила Егорыч.— В прежние годы в одну Одессу мы втрое больше ставили, в Ливурну оттоле возили, теперь стало дело, да и шабаш.

— Отчего ж так, Корнила Егорыч?

— Сырьем повезли. У иностранцев, я вам доложу, на этот предмет руки золотые — не нашим чета. Наш брат русак сметкой взял, а немец — терпеньем. Да к нашей-то сметке горе привилось, да не одно, целых три... Русский человек на трех сваях стоит: авось, небось да как-нибудь. Нам бы тяп-ляп — и корабль, а там — нет-с, там на этот счет все в аккурат... К примеру хоть кожа: что наша русская кожа? Вон на дворе партия юхты

лежит — на Урюпинску заготовил — развалийте-ка воз: тут подрезь, тут гниль мясная, а тут и всё дырье... Отчего?.. Оттого, что платишь рабочему поштучно, он тебе и делает как-нибудь, одно норовит: больше бы кож обрядить... Да как пошел ножом с плеча валять, тут ему не до подрезей. Небось, говорит, хозяин не приметит. А хозяин, наш брат, не в печку же ему бросать порчену кожу: авось, думает, на ярмонке сбуду. А как работник-от делает как-нибудь, да хоронится за небось, да как и хозяин-от на авоське в ярмонку выезжает — добра не жди. Правду надо говорить!.. Вот за границу наша кожа и нейдет, а сырье иностранцы с руками готовы рвать. Из русского сырья они такую тебе кожу срабotaют, что нашей-то в нос кинется. Вот отчего, сударь, стала наша кожа. Красна юхта покуда еще идет — это особь статья, эта завсегда пойдет; у нас березы-то не занимать статью, а за границей чуть не каждый сучок на перечете.

— Как же сбыт юхты зависит от березы?

— Березы нет — дегтю нет; а без дегтю хорошей юхты не сделать.

Перешел разговор на смуты, возникшие в то время на Западе¹.

— В Венгрии, кажется, война будет, — сказал я, — для тамошних войск кожа потребуется, нашей попросят.

— Пуда не попросят. Пошли бы туда наши кожи, ежели бы там шла война по божьему веленью, стал бы царь на царя, закон на закон. Тогда бы пошла... А теперь что там?.. Законная разве война?.. Бунт богопротивный, усобица... Подерутся и босиком!..

Таковы были речи Корнилы Егорыча. А учился за медну полтину у приходского дьячка, выезжал из своего городка только к Макарью на ярмонку да, будучи городским головой, раза два в губернский город — ко властям на поклон. Кроме псалтыря, чети-минеи да «Московских ведомостей», сроду ничего не читывал, а говорил, ровно книга... Человек бывалый. Природный, светлый ум брал свое. Заговорили о развитии торговли и промышленности.

¹ Речь идет о революции 1848—1849 годов в Австрии, благодаря которой Венгрия на некоторое время отделилась от Австрии и превратилась в независимое государство с республиканским режимом.

— Чтoб дело торговое шло,— молвил Корнила Егорыч,— надо, чтoб ему не делали помехи, а пуще того, чтoб ему не помогали, на казенну бы форму не гнули. Не приказное это дело: в форменну книгу его не уложишь. А главна статья — сноровка... Без сноровки будь каждый день с барышом, а век проходишь нагишом. А главней всего — бoжья воля: благословит господь — в отрепье деньгу найдешь, без бoжьего благословенья корабли с золотом кo дну пойдут.

— Так, Корнила Егорыч, слова нет на вашу речь: бoжье благословенье первое дело, но, кажется, вы еще одно позабыли.

— А что ж такое?

— Науку, просвещение.

Нахмурился Красильников, помолчал и такую речь повел:

— Просвещение!.. Это что в книгах-то пишут?.. Эх, сударь! мало ль что пишут да печатают! Сўпротив печатного не соврешь. Перо скрипит, бумага молчит да все терпит... Вот, примеру ради, промысла хоть, что ли, взять? Пишут да печатают, что в гору они пошли... Речи нет, прытко идут, шагают широко, да не так, как пишут. Не в ту силу говорю, что наша промышленность тише идет сўпротив того, как про нее печатают: нет-с, может, она и попрытче того идет,— а про то я говорю, что пишут-то нескладно, неладно, ровно черт шестом по Неглинной... Вот в «Ведомостях» как-то раз я про наш уезд вычитал. Пишет какой-то барин — видно, такой же, что и вы: тоже сведенья собирал,— пишет, что в запрошлом году и скота у нас стало больше и крестьянский промысел в гору пошел; а видно-де это из того, что на базарах скота больше продано, саней и всякого другого крестьянского изделия.

— Что ж, Корнила Егорыч? Разве базарная торговля не может показать степень крестьянских промыслов?..

— Вряд ли, сударь! По-нашему, не может... Вот хоть бы нашу сторону взять... Сторона гужевая: от Волги четыреста, от Оки двести верст, реки, пристани далеко — надо все гужом. Вот в запрошлый год и уродись у нас хлеба вдоволь, а промысла на ту пору позамялись... Мужик волком и взвыл, для того что ему хлебом одним не прожить... Крестьянско житье тоже деньгу просит. Спаси, господи, и помилуй православных от недорода, да

избавь, царю небесный, и от того, чтобы много-то хлеба родилось.

— Как так, Корнила Егорыч?

— Да так-с. Мы люди простые, зато седьмой десяток доживаем — всего насмотрелись. Привел господь смолоду, когда еще в бедности находился, и голод изжить: макуху, дуранду, мезгу сосновую ели. И урожаи видал. Так уж я и знаю, что перерод хуже недорода, что здешнему гужевому крестьянину не то беда, что гумно не полно, а то горе великое, ежели работа замнется, промыслу не хватит, да на ту пору хлеб в низкой цене станет. В запрошлый год хлеб-от здесь по полтине был асигнациями. Серебряный пятиалтынный, значит, без семитки... Подушные мужику надо платить: вези, значит, три воза хлеба за двести верст до пристани, для того что по осени да по перевозимце на месте покупателей ни души. Ну, и вези да считай, много ль дорогой-то денег прохарчишь... Да что подати?.. Подати у нас, слава богу, не больно еще тяжелы; так ведь не на одни подати мужику деньги нужны: надо упряжь справить, надо кушак купить, шапку, платок жене, в храмовой праздник винца хлебнуть, а там еще свадьбы да родины, молебны да крестины, поп с праздным придет — ему хлеб-от хлебом, а деньги деньгами. А как в урожайный год хлеб-от подешевеет да промыслы-то ухнут, и нет их совсем, заработки-то пойдут дешевые, у мужика из рук все и отобьется. А на ту пору староста в окошко стучит: «Оброк, говорит, подавай». — «Денег нет». — «Давай, говорит, срок пришел, а нет денег, так корову продай...» Повел мужик телку, повел другой сновотёлу, повел третий бычка. На базаре их сосчитали да в «Ведомостях» и припечатали: скота-де у них расплодилось... Прошел месяц-другой, опять староста у окна. «Денег нет», — говорит ему мужичок. А староста ему на ответ: «У тебя две телеги — нову-то продай». Повез мужик телегу, повез другой сани, повез третий дровни — на базаре их сосчитали, а ваша милость, что сведенья-то собираете, и хватъ в «Ведомостях» — промыслы-де у них в гору пошли... Не в ту силу говорю, что здешнему мужику жизнь горемычная. Год на год не приходит: одно лето перетерпит, на другое за три наворачивает. А в ту силу говорю, что ины книги ровно шайтан помелом в трубе написал. Год-от перерода минёт, на хлеб станет цена

хорошая, промыслы поднимутся, глядишь — справился мужик: скотом обзавелся, сбруей, и в мошне не пусто стало. В зимнице три-четыре коровушки, под навесом две-три телеги; и как староста под окно придет, оброк-от ему платить есть из чего. А на базаре ни коров, ни телег, ни саней, что в прошлом году нужда вывозила. Подметят господа, что книги печатают, да, не справясь со святцами,— бух в большой, скота-де стало меньше: видно-де, падеж у них был, да и промыслы упали, должно-де быть, народ обеднял... Обеднял!.. Как же?.. Лежит себе на печи да бражку потягивает.

Станным казалось мне уклоненье Корнилы Егорыча от прямого разговора. «Что б это значило? — думалось мне.— Начал за здравие, свел за упокой». Опять наклонил я речи на прежний предмет, опять сказал, что для успехов торговли надо купцам учиться и учиться...

— В ниверситете, что ли-с? — с горькой, но задорной усмешкой возразил Красильников.— Нет-с, увольте, ваше высокородие!.. Покорнейше благодарим-с!.. Знаем мы!.. Это дело, сударь, ваше — барское, а нашему брату оно не по шерсти. Из нашего брата, из купечества, это тому пригодно, кто думает сыновей в дворяне выводить, а нам — нет-с, увольте!.. Да и проку мало, ей-богу, мало. Дед, отец копят деньги, скопят капитал, большие дела заведут, миллионами зачнут ворочать, а ученый сынок в карты их проиграет, на шампанском с гуляками пропьет, комедиянткам расшвыряет аль на балы да на вечеринки... Глядишь — и пошел Христовым именем кормиться... Да это бы еще не беда... А как разум сгинет, как... Прохора Андреича Крапивина — извольте знать?.. В Москве суконная фабрика у него была. У него сынок-от ученый... В чинах был, в каретах ездил, на дворянке женился, да как профуфынился — из ружья себя и застрелил... Вот те и чины!.. Вот те и ученье!.. Душеньку-то свою не уберег, самому сатане ее на руки отдал...

— Не говорю я, Корнила Егорыч, чтоб молодые купцы, выучившись, оставляли свое звание и проматывали отцовские капиталы. Дельное, правильное ученье научит быть бережливым, научит и уважение иметь к сословию, в котором родился. Теперь у нас слава богу...

— Не говорите!.. Мне-то этого не говорите!.. Купцу ученье — пагуба, вот что!.. У меня у самого... Да позабавьтесь финичками-то, ваше высокородие... Икорки-то

покушайте: первого, сударь, багренья, прямо из Уральска... А ты что губы-то распустил, Петрович?.. Что чашки не примаешь?.. Давай еще чаю-то!.. Да мадерцы еще рюмочку, ваше высокородие!.. Кликни Сережу, Петрович!

Сережа, парень лет двадцати трех-четыре, румяный, здоровый, с богобоязненным видом и тихой поступью, робко вошел в комнату. Низко поклонясь, смиренно остановился он у притолоки, глядя исподлобья на родителя. Тот сказал ему:

— Сивую в дрожки, савраску в беговые. Ты со мной на савраске поедешь.

Я стал уговаривать Корнилу Егорыча самому не беспокоиться, а отпустить с нами на завод одного Сережу... Взгрустнулось, должно быть, по лежанке Корниле Егорычу,— согласился.

— Парень молодой,— сказал он про сына,— мало еще толку в нем... Оно толк-от есть, да не втолкан весь... Молод, дурь еще в голове ходит — похулить грех, да и похвалишь, так бог убьет. Все бы еще рядиться да на рысаках. Известно, зелен виноград — не вкусен, млад человек не искусен. Летось женил: кажется, пора бы и ум копить. Ну, да господь милостив: это еще горе не великое... не другое что...

Помутился взор Корнилы Егорыча. Помолчавши, вздохнул он и молвил вполголоса:

— На волю божью не подашь просьбы!..

Вошел Сережа.

— Поезжай на завод с господами! — сказал ему отец. — Покажи там все, как оно есть... Слышишь?.. Чего стал?.. Пошел, дожидайся!

Сережа пошел было, но отец, воротив его с полдороги, тихонько молвил ему:

— Митьку в сушильню!.. Слышишь? — прибавил он громко.

— Слышу, тятенька!

— Ступай же!.. На крыльце дожидайся... А после заводу, ваше высокородие, просим покорно на чашку чаю. Сделайте такое ваше одолжение, не побрезгуйте убогим нашим угощением.

Сережа, тихий смиренный на отцовских глазах, не таков был на заводе. С нами обходился подобострастно, на-

силу согласился картуз надеть, но с рабочими обходился круто и к тому ж бестолково. Покрикивая ни за что ни про что, сурово поглядывал он то на того, то на другого, и пятились рабочие и прятались друг за дружку, косясь на толстую суковатую палку, что была в сильных, мускулистых руках Сережи... Но вдруг какой-то шальной, вывернувшись из-за зольного чана, мазнул его по спине мешалкой, обмакнутой в известковый подзол. Сделав свое дело, поворотил он неровным шагом назад. Рабочие уступали ему дорогу и, казалось, друг другу говорили глазами: «Ай да, молодец!» Увлеченный рассказом, через сколько перезолов проходит яловица прежде квасов, Сережа ничего не заметил. Тот шальной был молодой человек лет пѳд тридцать, в загрязненной, просаленной насквозь холщовой рубаше и в дырявых сапогах. Взъерошенная голова, казалось, сроду не была чесана, небольшая борода сваялась комьями, бледножелтое худощавое лицо обрюзгло, рот глупо разинут; но в тусклых, помутившихся глазах виднелось что-то невыразимо странное, что-то болезненно грустное... Потухающий ум последней, прощальной искрой светился в том взоре.

Мы проходили через отделение, где толкут корье. Неочищенную ивовую кору подбрасывали в толчею. Путевой товарищ мой заметил, что он видел в Бельгии особую машину для скобленья корья. Сказал это по-французски.

— *Les meilleurs cuirs-marquins, qui se fabriquent...*¹ — проговорил за нами сиплый голос.

Обернулся Сережа и крикнул:

— В сушильню!

Оглянувшись, увидал я того шального, что вымазал спину Сереже.

— Нейду! — закричал тот задорно. — Ты мне не указ... Наушник!.. Подлец!.. Ты ее погубил!.. Ты убил мою...

— Митька!.. Тятеньке скажу.

Вздрогнул шальной. Понутив голову, тихо поплелся он из толчеи, но вдруг быстро обернулся и заговорил умоляющим голосом:

— Сереженька, голубчик ты мой! Дай гривенничек.

— В сушильню!

— Хотя на шкалик!

¹ Лучший сорт кожи-марокен, которую выделывают... (франц.).

— Слушай, Митька! — подняв палку, закричал Сережа. — Право, тятеньке скажу!.. Хоть бы при чужих постыдился!.. Сведи его, Федька, в сушильню. На замок.

Митька сам пошел. За дверьми нестройно запел он хриплым басом:

Quand le vin de Champagne
Fait en echappant,
Pan, pan!
La douce gaité me gagne...¹

— А вот здесь дегтем бухтарму² после дубов мажут, — говорил в то время Сережа, переводя нас в другое отделение.

II

Вечером, сидя у Красильникова, опять я свел разговор на просвещение. Говорил, что купцам ученье необходимо... Заговорил и Корнила Егорыч, сидя за пуншиком.

— Не говорите про это, ваше высокородие... Мне-то не говорите!.. Говорят люди: красна птица перьем, человек ученьем... Говорят: ученье свет, неученье тьма. Врут люди!.. Учение — прямое мученье, а нашему брату погиль!..

Купец знай читать, знай писать, знай на счетах класть, шабаш — дальше не забирайся!.. Лучше недоучиться, чем переучиться. Учение-то ведь, что дерево: из него и икона и лопата... Аль что ножик: иной его на пользу держит, а наш брат себя ж по горлу норовит... Купцу наука, что ребенку огонь. Это уж так-с, это — не извольте беспокоиться... Много купецкой молодежи промоталось, много и совсем сгинуло, — а все отчего?.. Все от ученья, все моды проклятые, все оттого, что за господами пошли тянуться, им захотели в вёрсту стать. Нет-с, был бы купец смышлен, даром что не учен.

Нынче за наши грехи не на ту стать пошло. Не то что сыновей, дочерей-то французскому стали учить, да на музыке, да плясать. Выучатся дочки, хватъ — ан забыли, которой рукой перекрестить лоб следует... У свояка моего, у Петра Андреича Кирпишникова, дочка ученая есть: имя-то святое, при крещенье богоданное — Матрeной

¹ Когда летит пробка из шампанского, меня охватывает веселье... (франц.)

² Бухтарма — нижняя поверхность шкуры.

зовут — на какое-то басурманское сменяла, выговорить даже грех, Матильда, пес ее знает, какая-то стала... За муж вышла за дворянина: промотался голубчик, женился — карман починить. Стала дворянкой и пустилась во вся тяжкая: верхом, сударь, на лошади катается... тьфу, ты, гадость какая!..

Вот и у меня Митька... Погиб, совсем погиб, — пропавший стал человек... А все ученье, все наука... А парень-от какой был разумный, да тихий, смирный, рассудительный!.. Что перед ним Сережка?.. Дурь нагольная, как есть одна дурь!.. Сердце колом повернет, как вспомнишь... Ох ты, господи, творец праведный!..

Да-с, без детей горе, а с ними вдвое... Дал мне господь двух сынов да дочку одну: Митька от покойницы от первой жены, Сережа да Настя от Марьи Андревны. Ну, дочь, известно дело, чужое сокровище — холь, корми, учи, стереги, да после в люди отдай... А сын домашний гость — корми его да пой — тебе же пригодится. Да учи его, покамест поперек лавки лежит, вырастет да всюю вытянется, тогда уж его не унять. Худ сын глупый — родной отец к коже ума ему не пришьет, а хуже того сын ненаказанный — он бесчестье отцу... Легло бесчестье и на мою седую голову!.. Божья воля!..

Смышлен рос Митька, отдал я его здесь в уездно училище. Учился бойко — три похвальных листа получил. Выучился, в гимназию стал проситься, ревет мой парень: пусти да пусти. Думал я ременную гимназию ему в спину-то засыпать, да шурин покойник уговорил... Пристал, отдай да отдай ему Митю на руки... Попутал меня грех — послушался... В гимназии Митька учился лет пять и был умен не по годам: летом, бывало, на побывку придет, на что у нас пятницей протопоп отец Никанор, и тот с ним не связывайся: в пух загоняет, да все ведь по-латынски... А благочестивый какой был: ни обедни, ни заутрени не пропустит... На крылосе как пел... Голос-от, голос-от какой был!.. А смиренник какой!.. что твоя красная девка... И по заводу наострился: ни корья, ни подзола при нем, бывало, фунта не украдут, даром что не был приучен к заводским порядкам... И думал ли я, на него радуясь, что погибнет мой разумник, что покроет он горем старость мою?.. Господи, господи!..

Когда срок ученья ему отошел, был я на ту пору в губернском городе: городским головой служил, к

начальству ездил. Стал Митька проситься в Москву, в ниверситете доучиваться. В ногах валяется — плачет: пусти да пусти его еще в ученье. «Врешь, говорю, Митька, умнее не будешь: не пушу!» Чужало родительское сердце!.. А из гимназии когда его выпускали, был он что ни на есть первый ученик, не то что своего брата, барчат всех за пояс заткнул. На экзамент на ихний велели мне побывать, печатный билетец прислали... Митька речь держал по-французскому, качал бойко, только ничего не поймешь. Его превосходительство господин губернатор из своих рук лист да книгу ему пожаловал да, подозревши меня, сказал: «У тебя, говорит, Корнила Егорыч, не сын, а звезда». А был на ту пору в нашем губернском городе генерал, над гимназией-то набольший; он, слышь, допрашивал учеников, кто что знает и куда после выучки идти хочет. Полюбись ему мой Митька: бойко, слышь, из книг гораздо ему отвечал. Спрашивает его генерал: чей сын, откуда родом и куда хочет. А Митька ему: «Так и так, ваше превосходительство, сын я первой гильдии купца Корнилы Красильникова, оченно бы хотелось в ниверситет, да тятенька не пускает...» Ладно, хорошо!.. Сиж у шурина, глядь, губернаторский лакей на двор, в золоте весь... Что за оказия?.. «Где, говорит, Корнила Егорыч Красильников?..» — «Здесь, говорю, я самый и есть». — «Ступай, говорит, к генералу обедать». Усомнился я, думаю — прошибся лакей: к другому послали, а он ко мне... Нет, ко мне в самом деле... Честь не малая: сам губернатор обедать зовет: «Ты, говорит, Корнила Егорыч, приходи моего хлеба-соли кушать». Пошел, благо день-от скоромный был — вторник.

Посадил меня губернатор с собой рядышком; а тут еще сидел генерал, которому Митька-то мой полюбился, да губернаторша, да две барышни — дочки губернатору-то — красовитые из себя, только уж больно сухопароваты. Губернаторша сама изволила мне похлебки в тарелку налить, губернатор из своих рук вином угощал... Вот оно что!.. И стали они меня улащать: «Ты, говорят, Корнила Егорыч, поперек Митьки не ходи: из мальчугана, говорят, выйдет прок — пусти его до конца доучиться». А генерал-от, что его возлюбил, обещал ему вместо отца быть. «Как за родным детищем, говорит, пригляжу, баловаться не дам, да и парень-от, говорит, он у тебя не такой, баловником не смотрит...» Сами посудите, ваше

высокородие, можно ль тут было поперечить им? Два генерала ровно с ножом к горлу пристали: пусти да пусти Митьку доучиться! Губернаторша тоже: «Ты, говорит, Корнила Егорыч, не губи своего детища рожего, не отымай у Митьки счастья. Бог, говорит, за это тебе не попустит!» Послушался... Больно не хотелось, чуяло сердце... А послушался — потому нельзя: начальство не свой брат — стоя без шапки да переступая с ноги на ногу, много не накалякаешься...

Собрал Митьку в Москву. Марья Андревна хоть не родная мать, а в гору было полезла. И руками и ногами: «Не пущу, говорит, Митеньку на чужу сторонушку...» Да что она?.. Баба, бабе плетъ — вот и все... Призвав бога в помощь, Николу на путь, снарядил я Митьку; да на прощанье, перед благословенной иконой, взял с него зарок, чтоб после выучки не ходил он ни в офицеры, ни в приказные, а был бы всю жизнь свою купцом и кожевным заводчиком. А Митька, ну уж двадцать первой тогда ему шел, на полном смысле значит: «Не бойтесь, говорит, тятенька, никуда не пойду, буду вам на старости печальник, на покон души помянник, а выучусь, буду то и то, заведем мы с вами такое да этакое...» Да уж так красно говорил, что нѣхотя верилось!..

Четыре года Митька в Москве выжил, учился на первую статью, а в праздники там какие аль в другие гуляющие дни, не то чтоб мотаться да бражничать, а все на фабрику какую, аль на завод, да на биржу... С первостатейным купечеством знакомства свел, пять поставок юхты уладил мне, да раз сало так продал, что, признательно сказать, мне бы и во сне так не приснилось...

Нашего уезда помещик есть Андрей Васильич Абдулин. Не изволите ль знать? У него еще конный завод в деревне... Тут вот неподалеку от Федяковской станции, — ехали сюда, мимо проезжали. Сынок у него Василий Андреич вместе с моим Митькой учился и такой был ему закадычный приятель, ровно брат родной. Митька у господина Абдулина дневал, ночевал: учиться-то вместе было поваднее... Ох, пропадай эти Абдулины!.. Заели век у старика, погубили у меня сына любимого!..

Отучился Митька, дали ему медаль золотую: не то чтоб на шею, а так, карманную... И в газетах пропечатали: выучился-де такой-то Дмитрий Красильников в кандидаты... Домой приехал, заводом занялся: то ула-

дит, другое переменит, то чан, то зольник, то другое что. Спервоначалу-то я было побаивался: испортит, думаю. Нет: восемь копеек лишкѡв на сале взял, семь копеек на юхте. А все его разумом да старательством. Отец ведь, кажись, отец, а — сыну родному позавидовал.. Вот каков был умница!.. А бережливый какой!.. Только и изволил деньги, что на книги... Бывало, как месяц прошел, так из Москвы короб с книгами ему и шлют.

Пожил Митька у меня месяцев с восемь. Андрей Васильич Абдулин той порой на теплые воды собрался жену лечить. Ехал в чужие край всей семьей. Стал у меня Митька с ними проситься. «Что ж, думаю, избѣным теплом далеко не уедешь, печка нежит, дорога разуму учит, дам я Митьке партию сала, пушай продаст его в чужих краях; а благословит его бог, и заграничный торг заведем!..» Тут уж меня никто не уговаривал — враг смутил!.. Захочет кого господь наказать — разум отымет, слепоту на душу найдет!..

Три года ездил мой Митька, продавал юхту бродским жидам, по салу с самим Лондоном уладил дела... Большие пошли барыши — в три-то года рубль на рубль нажил я!.. Не нарадовалось сердце!.. Экой сын-от, думаю... На что московские купцы, и те завидовали... Всем стал знаем мой Димитрий Корнилыч Красильников. А я?.. Чем бы бога благодарить, колокол бы вылить аль иконстас поставить... согрешил, окаянный, возгордился — барыши стал считать да сыном хвалиться!.. Думы-то были за морями, а горе за плечами!.. Наказал праведный судия за гордость нечестивую!.. Где теперь мой разумник?.. Чем теперь похваюсь?.. Не родиться б ему!.. Дай-ка мне пуншу, Петрович, да крепче налей!..

На четвертый год воротился из-за моря... Господи, что было радости!.. Письма от купцов заграничных привез: товару просят, Митьку хвалят. Замышляли мы с ним свой корабль снарядить, да еще бы года три-четыре побыл у меня Митька в разуме, два снарядили бы... Думали в Питере контору открыть, дом купить, загадывали в Лондоне приказчика держать... И все тогда казалось мне таково сбыточно, как вот теперь стакан пуншу выпить... Ан нет... Людское счастье, что вода в бредне!.. Величался почетом своим, величался сыном разумным и не знал никого счастливей себя!.. Все суета... В море потоп, в пустыне звери, в мире беды да напасти!..

Двадцать девятый Митьке пошел: давно пора своих детей наживать. Правду говорят, что и в раю тошно жить одному. Семейная каша погуще кипит, а холостой век проживет да помрет — собака не взвоят по нем...

За невестами дело не стало бы: рот разинь — из любого дома бери... Первостатейные, миллионщики, фабриканты сами с дочками напрашивались, сами письма писали. И стал я Митьке советовать, пора-де тебе и закон совершить... Только выбирай, говорю, жену не глазами, а ушами, слушай речь, разумна ли, узнавай, в хозяйстве какова. С лица не воду пить: красота приглядится, а щи не прихлебаются. А пуще всего смиренность да разум: это на всю твою жизнь пригодится. На богатство не зарься: у самих, слава богу, довольно. Приданое что? В потраве не хлеб, в долгах не деньги, в приданом не животы...

Говорю этак Митьке, а он как побледнеет, а потом лицо все пятнами... Что за притча такая?.. Пытал, пытал, неделю пытал — молчит, ни словечка... Ополовел инда весь, ходит голову повеся, от еды откинулся, исхудал, ровно спичка... Я было за плетъ — думаю, хоть и ученый, да все же мне сын... И по божьей заповеди и по земным законам с родного отца воля не снята... Поучу, умнее будет — отцовски же побои не болят... Совестно стало: рука не поднялась...

Той порой из чужих краев Андрей Васильич воротился. Дом купил в городе, рядом со мной. Митька там и днюет и ночует, от дела даже отстал, придет на завод — смотрит в оба, а не видит ничего. А рабочие, сами изволите знать, народ бестия — тотчас смекнули и давай добро по сторонам тащить... Да что завод?.. Пропадай он пропадом, огнем гори, сгинь все, что нажито!.. Митька-то разум терял — вот где напасть-то!.. Кровавыми слезами ее не вымоешь!.. Верите ль богу? Старик я, старик, а плакал, бабой ревел и ему, сыну-то своему, рожденью-то своему, покорился!.. Да, покорился... Слезами обливаюсь, упрашивал, умаливал его рассказать про кручину, что его одолела!.. Не вытерпел слез моих Митька — сказал!.. Лучше б на ту пору язык у него отнялся... Пуншу, Петрович... Да лей рому побольше, собака!..

Немка жила у Андрея Васильича, за дочерью ходила. По найму жила, полторы тысячи ассигнациями ей давали... Девка безродная, откуда — бог весть, так шаверь какая-то!.. А веры ихней еретицкой: не то люторской, не

то папешской¹, — да это все равно — такая ли, сякая ли, одна нехристь... Митька и бух мне: за морем-де слюбился с ней и окромя ее ни на ком в свете не женится... Так меня варом и обдало!.. В землю бы лег, гробовой бы доской укрылся, только бы этих слов не слышать!.. «В уме ль?» — говорю. А он свое!.. Корнями обвела, еретица, на богатство польстившись!.. Да чтоб этому быть, чтоб я сам себе бороду оплевал!.. Да весь мой род переведись!.. По миру пойду, на гноище середь улицы лягу, а такого срама не возьму на себя, не возьму покура от роду, от племени!.. «Слушай, — говорю Митьке, — вот тебе счеты: поезжай в Коренную, оттоль прямо в Нижний к Макарию, по осени в степь за скотом». Проветрится, думаю, дурь-то вытрясет. «А поедешь, говорю, Москвой, побывай у Архипа Иваныча Подколёсникова: у него дочка не немке чета: тоже на всяких языках говорит, в купуческом собрании пляшет, а на музыке позакатистей немки играет... А главное — благочестивых родителей дочь, не еретица поганая...» Митька было перечить, а я ему: «Слушай, говорю, хоть ты и барином глядишь, а воля с меня не снята: возьму варовину — не пеняй!» Замолчал.

Вечером Андрей Васильич пришел ко мне. Спервоначалу так себе о том, о сем покалякали. Потом речь на немку свел, хвалит ее пуще божьего милосердия. Я слушаю да думаю: что еще будет? Говорит Андрей Васильич, она-де и креститься может, господа-де женятся же на немках. Смекнул, к чему речь клонит, говорю ему: «Господам и воля господская, а нашему брату то не указ. Вы мой гость, Андрей Васильич, грубой речи вам не молвлю, а перестанем про еретицу толковать... ну ее к бесу совсем!»

— Да мне, — говорит, — Дмитрия Корнилыча жалко.

— Вам, — говорю, — жалко, а мне вдвое жалчей: я ведь отец, хоть детское сердце и в камне, да отцовское в детках... Да знаете, говорю, Андрей Васильич, русскую пословицу: «свои собаки грызутся, чужа не приставай». — Замолчал.

Митька всю ночь проревел. Я уж дал волю... Проревется, думаю, легче будет. Самого меня от хлеба отки-

¹ Католической.

нуло: отец ведь, каков ни будь сын — все болезнь утробы моей!..

Поутру в сад я пошел. Обрезаваю с яблони сухие сучья у самого абдулинского забора. Слышу, Митькин голос!.. Припал ухом к забору — и ее голос!.. Говорят не по-русски!.. Из моего-то сада калитка тогда была в абдулинский сад — я туда. Свету не взвидел... Митька с немкой обнявшись сидят, плачут да целуются!.. Увидавши меня, бежать шельма, — знает кошка, чье мясо съела... А Митька в ноги... «Батюшка, говорит, мы ведь повенчаны!..»

Остамел я, услыхавши срамоту на мою седую голову... Зелень в глазах заходила, к сердцу ровно головня подкадилась!.. На лежанке очнулся, не помню, как и добрел!.. Выдался денек!.. Пять лет на кости накинул!.. Андрей-от Васильич хорош!.. Приятелем звался, хлеб-соль водил, денег когда займовал, а у Митьки на свадьбе в посаженных был!.. Где-то за морем, пес их знает, свадьбу сыграли... Без моего-то ведома, без родительского благословенья!.. Вот они, друзья-то!.. За наше добро нам же рожон в ребро!.. Да и теперь на меня во всем вину валит! Сына, слышь, я погубил! Сами посудите, ваше высокородие, чем же я тут причинен, чем виноват?.. Ведь я отец — а ведь и змея своих детей бережет!.. Ученье всему виной, ученье!.. Не я ж в самом деле!.. Еще, слышь, Сережка да Марья Андревна на Митьку-де мне наговаривали!.. Как же!.. Не догадался б без них!.. Так вот!.. Язык-от без костей!.. Вот что!..

На другой день иду от ранней обедни — немка встречу. Не стерпело — зашиб: ударил маленько. Откуда ни возьмись Митька — отнимать ее... Сердце меня и взяло: его в сторону, немку за косу да оземь... Насилу отняли... Уж очень распалился я...

Тяжела, видно, свекрова рука пришлась!.. Зачахла. Месяцев через восемь померла. Ха-ха-ха!.. Слава богу, думаю, теперь у Митьки руки развязаны, поревет-поревет, да и справится... Быль молодцу не укора, будет опять человек... Да беда не живет одна: ты от горя, оно тебе встречу: придет чаша горькая — пей до дна...

На другой день похорон пришел Митька домой... Господи батюшка!.. Никогда этого за ним не вживалось!.. Вот оно где горе-то неизбывное!.. Митя, мой Митя!..

Крепись, Корнило!.. Терпи, голова, благо в кости ско-

вана!.. Эх, изведаль бы кто мое горе отцовское!.. Глуби моря шапкой не вычерпать, слез кровавых родного отца не высушить!.. Пуншу, пуншу, Петрович!

— Что ж потом случилось с ним? — спросил я после долгого молчанья.

— Не пытайте отца!.. Горько!.. Упился я бедами, охмелился слезами!.. Петрович! лей до краев!..

Нижний-Новгород
1852

П О Я Р К О В

Ехал я большой торговой дорогой, обсаженной березками. Тут когда-то был почтовый тракт, потому и обсадили его. Торный путь набит сажень на шесть в ширину, и обозы по нем взад и вперед тянутся беспереводно, друг дружке не мешая, а широкая тридцатисаженная дорога впусе лежит; давно отдана в распоряжение гуртовщиков, что гоняют-скотину из уральских степей с Нарын-Песков, с ярмонки у Ханской Ставки.

Проехав версты четыре, ямщик остановился, слез с козел, стал поправлять упряжь на коренной и посвистывать пристяжной. Колокольчик замолк. В стороне послышался дрожащий старческий голос: *Блажен муж, аллилуия, цже не иде на совет нечестивых, аллилуия, аллилуия, аллилуия.*

Я оглянулся: у дороги под ракитой сидел старичок в изношенном сюртуке, с котомкой за плечами; на траве возле него клюка и кожаный картуз. Утреннее солнце ярко освещало пепельного цвета лицо его и раскинутые по плечам седые как лунь волосы.

— Кто бы это? — сказал я путевому товарищу.

— Богомолец. И верно из дворовых. Был псарем либо музыкантом у богатого барина, век свой брил бороду, ходил в форменном казакине, до седых волос звался Мишкой либо Гришкой и служил верой и правдой. А как пришла старость, руки, ноги стали отставки просить, да увидал Гришка, что во дворне он лишним стал: то бабы на рубаху холста забыли ему наткать, то в застольной место ему насаженье от чашки — бух в ноги барину: «Увольте в Киев ко святым мощам на поклонение да к святителю Митрофанию». Таких много по большим дорогам.

Завидя нас, старик подошел и низко поклонился.

— Не в Ключищи ль изволите ехать, ваше высокородие? — спросил он.

— В Ключищи, а что?

— Окажите милость старику; позвольте на облучок присесть. Дело хворое — ноги болят. Сам бог не оставит вас.

— Садись, пожалуй, да ты кто такой?

— Титулярный советник Поярков.

— Садитесь, пожалуйста... Да куда ж вы? Вот здесь... Тарантас широк, троим не будет тесно.

— Помилуйте, ваше высокородие, смею ли я?.. Не извольте так много беспокоиться.

Насилу уговорил его сесть с нами.

— Где служили? — спросил я, думая, что это один из оставленных за штатом чиновников... Их тоже довольно на больших дорогах.

— Приставом второго стана Пискомского уезда Холмогорской губернии.

— Долго служили?

— Больше десяти лет. А до того секретарем земского суда был, письмоводителем в городническом правлении — все в полицейских должностях...

«Десять лет становым — и на большой дороге нищим! Чудеса!..» — подумал я.

— Отчего ж не продолжали службу?

— Я-с... отрешен от должности с тем, чтоб впредь никуда не определять.

— Чем же занимаетесь?

— Как вам доложить?.. Ничем-с... По святым обителям странствую... Работать не могу — года уж такие.

— Частной бы должности поискали...

— Нельзя-с.

— Отчего?

— Указом Правительствующего сената объявлен ябедником, хождение по частным делам воспрещено.. К другому ни к чему не приобик. Оно, конечно, вон теперь много мест по пароходству на Волге и в компаниях, и жалованье хорошее, и можно бы приспособиться... И пытался... Да с моим аттестатом кто возьмет?

«Вот подхватил я гуся лапчатого», — подумалось мне.

— А впрочем, благодарю создателя, что не попал на место, — заговорил Поярков после короткого молчания. — А то не сподобил бы господь столько святыни видеть и

недостойными устами своими к ней прикасаться, не привел бы узнать матушку Русь православную, как живет, как думается народу. Был я, ваше высокородие, в Киеве и у Почаевской богородицы, в Воронеже и в Соловках, у Кирилла Белозерского, у Симеона Верхотурского, вокруг Москвы везде,— всю почти Россию пешком выходил. А ведь нашему брату, убогому страннику, в дворянские да в чиновничьи дома ходу мало; у мужичков больше привитаем, от их трапезы кормимся. От них-то и узнал я русский народ... Познавать его ведь можно только лежа на полатах, а не сидя за книгами да за бумагами, да разъезжая по казенной надобности.

Сначала подумал я, что если это не закоренелый мошенник, так по крайней мере плут и уж навверное пьяница. Недаром говорится: вор слезлив, плут богомолен. Но, вслушиваясь в звуки речей, всматриваясь в лицо Пояркова, больше и больше удивлялся... Ни сизого носа, ни багровых пятен на щеках, ни мутности в глазах, ни отека в лице, ни одного из признаков знакомства с чарочкой не было. Напротив, в глазах выражалось много ума и благодушия, в лице — много твердости характера.

— Послушайте, господин Поярков,— сказал я,— скажу вам прямо: вы меня удивляете... По вашему лицу, по вашим речам не видно, чтоб вы были...

— Шельмованный негодяй? — перебил Поярков.— Не ропщу на суд человеческий: творился он волею божией. Поделом я наказан.

— Но...

— Как ни будь крив суд человеческий,— перебил меня Поярков,— все-таки он творится по божьему велению.

— Бывает, однако, что невинные страдают!

— Бывает, что судье мзда глаза дерет, бывает, что судья неопытен и дела не разумеет, вершит не по закону, не по совести... Так... Но поверьте, что за каждым невинно осужденным были другие грехи, до людей не дошедшие, а к богу вопиявшие... За эти-то тайные грехи и осуждается человек под предлогом таких, каким он не причастен... На человеческом суде всего один только раз был осужден не имевший греха. Судьей тогда был Пилат.

— Правда,— продолжал Поярков,— судья что плотник: что захочет, то и вырубит, а у всякого закона есть дышло: куда захочешь, туда и повернешь. Да ведь и над

судьей и над подсудимым есть еще судия... Неужли он допустит безвинно страдать? Не палач он людей, а весь — любовь бесконечная... Судья делом кривит, волю дьявола тем творит, на душу свою грех накладывает, а в то же время, по судьбам божьего правосудия, творит и волю правды небесной, за ту вину карает подсудимого, которой и не знал за ним. Так-то на всякую людскую глупость находит с неба божья премудрость.

Хоть об своем деле вам доложу. Отрешен от должности вот за что. В деревне баня загорелась, ее раскидали. Подают объявление о пожаре: до деревни восемьдесят верст, а у меня сорок важных дел на руках, в том числе пятнадцать арестантских. Становому всех обязанностей исполнить нельзя, будь у него в сутках сорок восемь часов. Потому и держат они вольнонаемных писцов. Набирают их из вольноотпущенных, исключенных из духовного звания, из службы выгнанных, из лиц, состоящих под надзором полиции. Они и заправляют делом, а становой тем только занят, что поважнее да прибыльнее. И у меня человек с пяток таких было. Одного и послал я на следствие о пожаре; он допросы снял, дело как следует очистил, я подписал, в уездный суд представили, решили там: «предать воле божией». А мужичонка, бани хозяин, кляузник был, подал губернатору жалобу: был-де у меня поджоги, а такой-то отпущенник¹ поджигателей скрыл. Губернского чиновника прислали, тот нашел, что мужик врет, поджога никакого не бывало, а следствие в самом деле отпущенник производил, а я на нем учинил фальшивую, значит, подпись и совершил допросы и очные ставки задним числом... Подлог, значит!.. Губернатор был внове, а нова метла чисто метет — под суд меня. В уголовной триста девяносто первую статейку и подвели: «лишение всех прав состояния и ссылка в Сибирь на поселенье». Подмазал — смилостивились: уменьшающие вину обстоятельства нашли, решили: «уволить от должности». А тут другое дело завязалось: «о похоронении на огороде без священнического отпевания некрещеного младенца матерью его, состоящею в расколе». Другой чиновник приехал. Прикосновенными были государственные крестьяне², стало быть,

¹ Бывший крепостной, получивший свободу по отпускну.

² Крестьяне, проживающие на государственных «казенных» землях, а также сельские жители, освобожденные от крепостной зависимости.

надо депутата. Чиновник меня и просит: «Нельзя ли, говорит, поскорей депутата прислать, всего бы лучше безграмотного, да прислал бы свою печать поскорее, мы бы дело-то разом кончили. У нас, видите ли, говорит, на будущей неделе в Хохломске благородный театр будет, я, говорит, с губернаторшей «Женщину-лунатика» представляю, так достаньте, пожалуйста, поскорее депутата, да непременно безграмотного». Написал я к волостному писарю записочку, выслал бы такого-то старшину к чиновнику. Года через три попадись эта записка к моим лиходеям. Завели новое дело «о разглашении тайны», под четыреста пятьдесят третью статью меня: за сообщение бумаг, отмеченных надписью «секретно», — отрешение от должности. Ведь изволите знать, что каждая бумага про раскольников, какая ни будь пустяшная, сверху-то «секретно» надписывается. Бабы на базаре про дело толкуют, а ты «секретно» пиши... По совокупности преступлений меня и приговорили — отрешить от должности, чтобы впредь никуда не определять.

Кому ни рассказать — всяк подумает, что не по вине страдаю. А осужден я достойно и праведно.

Теперь так говорю, когда господь умягчил мое сердце, а в те поры мыслил другое... Когда отрешили меня, остался я, на старости лет, без куска хлеба. Еще слава богу, что ни передо мной, ни за мной никого тогда не было — один как перст. Конечно, деньги были, да лихом нажитое прочно не бывает, — что было нажито, мирской слезой облито, а мирская слеза у бога велика. Под судом бывши истерялся: суд ведь доуку да деньги любит; да и жил-то широконько — привык, знаете, к хорошей-то жизни, сразу отвыкнуть не мог. В картишки любил поиграть. Ну и выпала мне такая линия, что дело хоть брось — ни иголки с елки, ни иконы — помолиться, ни ножа, чем зарезаться. Работать сил нет: и годы стары и руки мягки, а мягки-то руки чужой хлеб в рот кладут, а печь своего не умеют. Так горько пришлось, так прискорбно, что руки на себя хотел наложить.

И вот злость-то какая во мне была: пришел к проруби топиться; о душе, об ответе на страшном суде на ум не приходит, а про чуваш вспомнил, как они недругу «суху беду делают». На кого зол, пойдет к тому да у него на дворе и удавится, суд бы на него навести... И стал я думать, какая ж мне польза, ежели утоплюсь — унесет

меня под вешним льдом и не знай куда, где-нибудь сыщут, в губернских ведомостях напечатают, найдено-де неизвестное мертвое тело, и станут вызывать наследников или владельцев с ясными на принадлежность оного доказательствами. Нет, думаю себе, коли класть на себя руки, так уж с тем, чтоб лиходею суху беду сделать: пусть же знает, что безрога корова и шишкой бодает. А лиходеем почитал губернатора, что велел меня под суд отдать. И такое веселье враг вложил в меня, что с проруби-то я ровно с праздника воротился.

Сведаль, что у лиходея дельце есть тяжebное. В Малороссию верст тысячу пешком отшагал и усталости не знал — вот какова злость-то была. У него, видите ли, дядя бездетный был, имения тысячи две душ благоприобретенного. Покойник жене завещал его, а мой лиходей стал духовную оспаривать. Вот, думаю, привел же господь поплатиться да еще и за правду постоять. Взял у тетки доверенность, ездил, хлопотал, писал и «записался»... У племянника-то, у губернатора то есть, сильна протекция была: тетку по миру пустил, а мне хождение по делам воспретили...

Указ застал меня в Малороссии. Денег ни копейки, деваться некуда. Опять хотел руки на себя наложить, опять к реке пошел; но тут господь мне помощь явил... Встретился я со старцем, сказывал, что идет он из Киева в Саровскую пустынь. Кто такой, не знаю, но человек божий и дар прозорливости имел. Стал разговаривать и всю-то мою жизнь ровно по книге вычитал. И сам не знаю, что со мной сделалось; заплакал я — благодать-то божия коснулась окаменелого сердца. «Научи, говорю, старче, как горю помочь». — «Ступай, говорит, в Киев, помолись Иоанну Многострадальному, и твоим страданиям будет конец».

Слова старца умилили мое сердце; в тот же день побрел я в Киев. Много раз хотел с дороги воротиться, враг-от действовал. У самых даже ворот монастырских смутил он меня, такую тоску нагнал, что хотел было я, не заходя во святую лавру, — на Днепр да в воду. Но за молитвы праведного старца, давшего мне благой совет, избавил господь от врага... И сам не помню, как очутился у мощей Иоанна Многострадального... И тут во мне ровно что просияло, и заплакал я сладкими слезами... Мерзка и нечестива показалась мне прошлая жизнь!.. Вот теперь

девятый год по обету, данному в киевских пещерах, странствую по святым обителям.

Между тем подъехали мы к Ключищам. Старик спешил туда к храмовому празднику. В церкви того села стоит чудотворная икона, и к ней на поклоненье из окрестных мест сходится много богомольцев. После обедни залучил я к себе Пояркова. Слово за слово зашла речь про быт уездных чиновников. Вот что он рассказал:

— Кто кого сильней да важней в уездном городе, — вы не так говорить изволите. Ежели хотите знать, кто кого в уезде больше — в табель о рангах не смотрите; там своя табель. Первое место в городе — управляющий откупом: будь он чиновник, будь борода — все одно. Ему и честь и уважение, его и в кумовья зовут, и на свадьбы в отцы посаженные. Каждый божий праздник все от обедни к нему на закуску, каждое первое число всем чиновникам он шлет и вина, и пива, и меду, и наличными много ль кому следует, по «рописанью». Вот это самое «рописанье» и есть табель о рангах: кому откупщик больше платит, тот чиновник важнее, силы в нем больше. Важнее всех, конечно, исправник, а ежели город большой, богатый, купцов, живущих в нем, много, аль ярмонки при нем знатные есть, — то городничий. Если же город не важный, то городничий последняя спица в колеснице, и знать его никто не хочет и не слышать совсем про него; только что в мундирный день в соборе на первом месте станет — в том и весь его авантаж¹. После исправника — становой, потом секретарь земского суда да секретарь уездного. Это люди первые, за ними пойдет мелкая сошка: судья, непременный член, казначей, стряпчий, винный пристав. А всех ниже штатный смотритель да учителя: ими никто не занимается, и никакого к ним уважения нет, откуп им медной копейки не дает, к самой даже пасхе полштофа полугару не пришлет. И в гости их не зовут: разве когда из милости аль для счету. Не во всяком городе окружные есть да лесничие; а это люди первой статьи: окружной с исправником может вровень стать, помощник его да лесничий выше станового, чуть-чуть не исправниками смотрят.

А ежели насчет грехов, так их во всяком городе и во всяких чинах довольно... Про других не стану говорить,

¹ Преимущество, выгода (франц.).

зачем осуждать?.. А про свои грехи для чего не рассказать?.. Всенародное покаяние очищает ведь их...

Вырос я в канцелярии, за приказным столом и составил. А знал людей по одной только бумаге. Написано в деле: «В деревне Колосковой крестьянин Василий Сидоров», ну и знаешь, что есть на свете Василий Сидоров. Явится он к тебе по делу, только и думы, как бы побольше сорвать с него. Не думаешь, будет ли Сидоров с семьей завтра ужинать, об одном помышляешь, губа-де у меня, у барина, к сладкому наважена, а мужицкое горло, что суконное бердо, проглотит и долото. Пишешь, бывало, бумагу: «С крестьянина Миронова деньги взысканы», и знаешь, что у Миронова были деньги. Пишешь: «Кондратьев розгами наказан», и знаешь, что есть у Кондратьева спина. А не сидят ли у Миронова ребятишки без молока, зажила ль спина у Кондратьева, про то и не думаешь. Со всякого берешь, а себя праведником ставишь. Что ж? бывало, думаешь: по праздникам церковь божью не обегая, попов с праздным принимаю, говею каждый год, в большие посты не скоромлюсь, нищим по силе помощи подаю, в тюремном комитете состою членом, ежегодные пожертвования на детские приюты, по письмам губернаторши, плачу исправно. Чего еще?..

Святым себя считал, а врага слушал. Шепчет, бывало, в душу-то: «Карпушку-то Власьева прижми, денег у него, у шельмы, много, пушай не забывает, что ты его начальство». И прижмешь Карпушку бумаги листом, а бумаги листок на руке легок, а выйдет из-под руки, так иной раз тяжелой каменной горы станет.

Раз были нужны деньги до зарезу: наличные в горку¹ спустил, праздники подходят, покойница жена шляпки требует, салоп с куньим воротником ей подай, в губернско правление дань посылать срок две недели уж минул. Хоть в доме от мирского приносу всякого припаса и вдоволь, да надо хорошенького винца купить, неравно губернский чиновник наедет, не подашь ему мадеры деверье — шампанского подавай, да настоящего, по три целковых бутылка. Просто беда: как бредень ни закидывай, рыбешка не ловится. Что делать, как быть? А главное дело — губернское! Во-время не представишь — шесть

¹ Горка — карточная игра.

выговоров на неделе закатят, и пошел под суд, купайся там.

Почту получаю. Посмотрим, думаю,—нет ли благостыни. Подтверждений штук сорок, помечаю — «к делу». Пачка публикаций о сыскѣ лиц и имуществ; ну это, известно дело — под стол, письмоводитель подберет, напишет: «на жительстве не оказалось», и конец. От губернатора предписания, да все пустяковые: статистику требует, да двух старых девок в консисторию на увещанье переслать... Объявления об умерших солдатах, о взысканиях, о скотском падеже, много всякой дряни, а путного нет ничего.— Эх, несчастная ты доля моя!.. Еще распечатаваю: губернаторша еще раз пожертвовать в пользу детского приюта приглашает. «Нет, думаю, шалишь, ваше превосходительство,— не до твоих поросят свинье, коль ее самое палят на огне». С горя да с печали за печатны циркуляры принялся. Видно, тяжело было, что за них принялся... Их, бывало, нискогда не читаешь, только сбоку пометишь: «к сведению и руководству».

Десятка полтора прочел — ничегохонько... Вдруг, гляжу — милость-то господня! У циркуляра сбоку припечатано: «об отдаче малолетних крестьянских детей в Горыгорецкую школу Могилевской губернии». Э!.. Не штука — деньги, штука — выдумка!.. Вот она благодать-то где! С места даже вскочил, запел от радости: *Завтра услышии глас мой!*

«Лошадей! в Ермолино!..» Приехали. «К волостному голове!..» Достучались. Вошли. Хозяйка в задней избе самовар ставит, а хозяин, стоя у притолки, в кулак зевает: на рассвете дело-то было.

— Что,—говоря,— Корней Сергеич, здоровенько ли поживаешь?

— Слава богу,—говорит,— ваше благородие, бог грехам терпит.

— Ну, слава богу — дороже всего,—говоря...— Домашние что? Хозяюшка здравствует ли?

— Что ей делается?.. Вон с самоваром возится... Ишь надымилась как в сенях-то!.. Грунька! Чего в угли-то налила?.. Эка дурь-баба!.. Дым сюда пройдет — у барина головка разболится.

— Ничего,—говоря,— Корней Сергеич... Ну, дочки что?.. Землемер-от, чать, даром месяц у тебя выжил.

— Эх, ваше благородие, чего тут ворошить?.. Мало ль чего не толкуют?.. Чужи речи не переслушаешь.

— Ну, да про это что? Девки молодые! По-вашему, может, так и надо. Парнишко-то что?

— Ничего, ваше благородие, растет. Часослов скончал, на второй кафизме¹ сидит.

— Дело хорошее... А ведь я, Корней Сергеич, к тебе с повесткой... Читай-ка: человек ты грамотный.— И подаю ему циркуляр. А народ-от по захолустьям глуп: видит печатна бумага, да сбоку «министерство» стоит — глаза-то у него и разбежались. Учен еще мало, знаете.

Прочел бумагу Корней, повертел в руках, на стол кладет.

— Мы,— говорит,—ваше благородие, люди слепые,— извольте приказать, какое тому дело есть.

— Что ты за слепой человек, Корней Сергеич!.. Зачем на себя клепать? Читай-ка вот, сбоку-то: «об отдаче малолетних крестьянских детей в Горыгорецкую школу Могилевской губернии». Видишь?

— Вижу, ваше благородие.

— А слышал ли ты про такую губернию? Про Могилевскую-то?

— Никак нет, ваше благородие, не слыхивал, что есть такая Могилевская губерния. Впервой слышу!

— Эта губерния за Сибирью, на самом краю света,— говорю ему.— И вся-то она, братец ты мой, состоит в могилах. А на тех на могилах гора, и на той на горе школу, вот видишь, завели... Крестьянских ребятишек там ко всякому горю приобучают: оттого и прозвана: «на горе горецкая школа». Понял?

— Невдомек, ваше благородие: ваши речи умные, да наши головы глупые.

— Да полно малину-то в рукавицы совать! Что, в самом деле, на себя клеплешь! У него и Власка кафизмы читает, а сам будто и печатного разобрать не может. Бери бумагу-то, читай; не морочу ведь тебя... Печатное. Несам же я печатал. Видишь? «Об отдаче малолетних крестьянских детей»... А ты читай сам!

Корней ни жив ни мертв: только пальцами семенит. Смекнул, куда дело-то клоню. А все-таки спрашивает:

¹ Ка ф и з м а — каждый из двадцати разделов псалтыря.

— Какое ж тут до меня касательство, ваше благородие?

— Как какое касательство? Власке-то который год?

— Двенадцатый на масленице пошел.

— Таких и требуется. Читай-ка вот.

— Нельзя ли помиловать, ваше благородие?

— Да как же я тебя помилую? По ревизским сказкам¹ известно ведь, у какого крестьянина каких лет сыновья. Что ж мне из-за твоего Власки на свою голову беду брать... А?..

Замолчал Корней. Повесил голову, лицо пятнами пошло. А я себе прималчиваю, из сундучка бумаги вынимаю да раскладываю их по столу.

— Нельзя ли как помиловать, ваше благородие? — заголосил Корней.

— Как мне тебя миловать-то, Корней Сергеич? Своего, что ли, сына вместо Власки по этапу высылать? Так у меня и сына-то нет.

— Все в ваших руках, ваше благородие... Как бог, так и вы!.. Помилуйте, заставьте за себя вечно бога молить.

Корнеева жена в избу вошла, знает уж, о чем дело идет. Повалилась на пол, ухватила мне за ноги, воеет в источный голос на всю деревню. Услыхавши материн вой, девки прибежали, тоже завывали, тоже в ноги. А Власка, войдя в избу, стал у притолки, сам ни с места. Побелел, ровно полотно, стоит, ровно к смерти приговорен.

— Душно что-то здесь, — молвил я Корнею, — на крыльцо выйду. Хочешь, вместе пойдем.

Вышли на крыльцо. Хозяйка почти без дыхания. Девки было за нами, да Корней цыкнул на них.

Сел на крыльце, трубочку раскурил, покуриваю себе... Говорю Корнею таково приятно да ласково:

— Избы не хочу сквернить этим куревом... Знаю, что старинки держишься, скитам веруешь²... Так я на крыльчке, чтоб у тебя богов не закоптить... Садись-ка рядом, Корней Сергеич, потолкуем...

Потолковали. На пяти золотых покончили. Написал я Власку немым и увечным, в Горыгорецкую, значит, негодным.

¹ Ревизские сказки — списки крепостных мужского пола, за которых помещики обязаны были платить подать.

² Имеется в виду принадлежность Корнея к старообрядческой церкви.

С легкой Корнеевой руки у меня дело как по маслу пошло. Сколько ни было в стану богатых мужиков,— всех объехал, никого не забыл. Сулил могилы да на горах горе, получил за каждого парнишку по золотенькому, в глухие, в немые писал их... Мужики рады-радешеньки, отбивши такое великое горе. Всем праздник, а мне вдвое: у жены салоп и шляпка с белым пером, точь-в-точь как у виц-губернаторши; у полюбовниц, что в стану держал: у одной шелково платье, у другой золотная душегрейка; шампанского вдоволь, хоть на месяц приезжай губернские... А главное, в губернском правлении остались довольны: крепко, значит, на месте сижу.

Да-с, бывал я котком, лавливал мышек.

Вся штука в том, что надо остроу иметь, чтоб показать мужику дело не с той стороны, как оно есть. Это у нас называлось «перелицевать». Кто мастер на это, будет сыт, и детки без хлеба не останутся. Закон, как толково ни будь написан, всё в наших руках: из каждой бумаги хочешь — свечку Николе сучи, хочешь — посконну веревку вей... А мужик что понимает? Он человек простой: только охает да в затылке чешет. До бога, говорит, высоко, до царя далеко. Похнычет-похнычет — и перестанет.

А нет ничего прибыльней, как раскольники. Народ уж такой: обижаются даже на того, кто не берет. Кто взял, на того надеются, что не выдаст и все по-ихнему сделает; а кто не взял, того боятся, притеснителем обзывают, и пронесут имя его, яко зло — до самых высоких степеней... Такая уж вера у них: им шагу ступить нельзя, чтобы чего-нибудь супротивного закону не сделать. Паспортов, по-ихнему, не надо, для того что антихристову печать означают. Оттого беспаспортным у них пристанище, к тому ж без беглых им во всем невозможно: попы ли, наставники ли, большаки ли ихние, народ все «скрывающийся», попросту сказать — беглый. А это нашему брату и на руку. У меня в стану скиты были — дно золотое.

В каждом по десяти да по двенадцати обителей, в каждой обители настоятельница, стариц и белиц штук пятьдесят и побольше. Это «лицевых», значит, таких, что с паспортами живут... Кроме того, «скрывающихся» много. Каждая настоятельница за «лицевую» в год рубля по два платит, а за «скрывающуюся» меньше тридцати взять нельзя. А у богатых раскольников еще такое заведение есть, что ежели купеческой дочке пошалить случится и

она тяжела станет, ее посылают в скиты, будто бы к те-тушке там какой-нибудь погостить, в своем-то бы городе огласки не было, женихи бы после не обегали. Тут, бывало, пожива хорошая: девка-то приедет с деньгами, с нее за то, чтоб девичьей тайны не огласить, а ребеночка принесет, следствия б не производить!..

Большой праздник подходит: изю всех обителѣй к тебе с подносами: к пасхе — на куличи, к Петрову дню — на барана, к успенью — на мед, к покрову — на брагу, к рождеству — на свинину, к масленице — на рыбу, к великому посту — на редьку да на капусту.

А то еще за сборами по городам матери ездят. Поѣдут перед зимним Николой, воротятся к благовещеньеву дню... Едучи в путь, приходятъ паспорта явить... Со сбора воротятся, опять являются — и чего тут, бывало, ни на-ташат. Котора в Саратов ездила — рыбы да икры, котора в Казань — сафьяну на сапоги, котора из Екатеринбургa приехала — нельмы-рыбы да печаток из камней самоцветных, с Дону — балыков, из Москвы — сукна, материй разных, всякого, значит, фабричного дела. Самому не съѣсть, не износить, лишки нужнымъ людямъ в губернію шлешь... Они довольны, и оттого насчетъ неприятностей описания не предвидится.

В скитъ приѣдешь — угощенье тут тебе богатой рукой. Спервоначалу все чинно: сядешь за столъ с чиновниками, что прихватишь с собой разгуляться, матери во всемъ чину у дверейъ стоятъ: в венцахъ, во иночествѣ, — шапочка такая плисовая у нихъ есть, иночествомъ зовется, — на плѣчахъ у всехъ манатейки — перелинки этиакие черныя с красной выпушкой. У каждой в руке лестовка¹: стоятъ смиренно, глядятъ умильно, речь ведетъ одна игуменья, да разве еще келарь, стряпка значитъ, примолвитъ: «милости просимъ», когда на столъ нову перемену ставитъ. Рядовыя старицы только вздыхаютъ да молитвы про себя шепчутъ. Белицъ тутъ не бываетъ, — те по свѣтлицамъ сидятъ. И велишь, бывало, матерямъ пить, ихнимъ же добромъ ихъ угощаешь. Хоть все они, кроме престарелыхъ, до винца и охочи, — а спервоначалу тоже блюдутъ себя, церемонятся. Выругаешь хорошенько, примутся за чарочки... Перепьются, потому что не смеютъ ослушаться...

¹ Старобрядческіе четки, кожаный шнуръ с нанизанными на него бусами для отсчитыванія поклоновъ или молитвъ.

Тогда к белицам в гости. А белицы бывали хорошие, молодые, красовитые, полные такие да здоровенные — кровь с молоком. Ходят чистенько: юбки, рубашки миткалевые, кофточка полотняные... При сторонних в черных сарафанах с цветными широкими ситцевыми передниками. Пойдешь по светлицам: там они сидят, бисерны кошельки вынизывают, шелковы пояски ткнут, по канве шерстями да синелью вышивают... Такая тут возня пойдет, что без греха никогда, бывало, кончиться не может... Насчет этого слабеньки...

А ведь их и винить нельзя. У крестьянской девки хоть много работы, да в году три радости есть: на масленице покататься, на святой покачаться, на троицу венки завивать. А келейны белицы тяжелого дела не знают, снуют целый день из часовни в светлицу, из светлицы в часовню, каноны читают да кошельки вяжут — вот и работа вся. А едят сладко, спят мягко, живут пространно, всякому пальчику по чуланчику — дурь-то в голову и лезет. Поихнему же это и не грех, а только падение: без греха, слышь, нет покаянья, а без покаянья и спасения нет. Поэтому девице и дозволено согрешить, было бы в чем каяться и тем спасение получить. Такая уж вера.

А когда благодетели, значит, богатые купцы, приедут в скит, тут не то... Не тем обитель смотрит, точно в самом деле истинное благочестие в ней обитает. Поведут матери благодетеля в часовню: там старицы стоят чинно, рядами, в полном чину, на венце у каждой креповая «наметка», все лицо она покрывает. Везде лампадки, везде свечи горят. В середине стоит «уставщица», смиренно в землю глаза опустив, внятно читает старинные книги. Чистыми, звонкими голосами стройно белицы поют по крюкам¹ демественным разводом². Кланяются разом, перед земными поклонами бросают на пол подручники разом, поднимают их разом, лестовки перебирают разом. Слова стороннего не молвят, в сторону не взглянут — да этак часов пять либо шесть сряду. Благодетель-от упарится, умается, а сам себе думает: «Вот оно где благочестие-то, вот она где старая-то вера!..»

И пригоршнями благостыни отвалит... А домой при-

¹ Крюками в первых нотных рукописных книгах русской церкви назывались особые обозначения для высоты и долготы звука.

² Демественный развод — система древнерусского церковного пения.

едет, братье своей зачнет говорить: «Видел я, братия, скиты... Уж такое там благолепие, уж такое там благочестие: истинно земные ангелы, небесные же человеки». А небесные человеки — только что благодетель вон из скита, на радостях от хорошей выручки, — старицы за рюмочку, а белицы за милá дружка за сердечного.

Благодетели на каноны и на негасимую денег скитницам пересылают много. Ежели где-нибудь, хоть в дальном каком городке, богатый раскольник умрет, родственники посылают милостыню «на корм братии». Те деньги идут настоятельницам, у них в каждой обители общежительство: пьют, едят на общий счет. Кроме того, на «негасимую свечу» присылают, значит чтоб читать псалтырь по покойнике денно-нощно шесть недель, либо полгода, либо год, глядя по деньгам, и каждый день петь «канон за единоумершего». Иной раз придется рублев по пяти на скитницу, богачи-то присылают на все скиты тысяч по десяти на ассигнации... Дележ бывает в скрытности, опричь игумений да каких-нибудь знатнееших, никого тут не бывает... А сборы им законом воспрещены; потому они завсегда у нас в руках.

Случится узнать, — привезли панафидные деньги и будут делить в такой-то обители. Поедешь, бывало, но как ни приедешь — ничего не застанешь, а по всему видно, что вот сейчас из кельи вон разбежались... Когда и во-время попадешь, да у них в скитах дома нарочно такие построены: ходы в них да переходы, темные коридоры, чуланы да тайники, скрытные проходы меж двойными стенами, под двойными полами и подземные ходы из одной обители в другую есть. Им без того нельзя — такая уж у них вера, что вся на беглых стоит. Прячут их в тайниках-то в случае надобности.

Раз мне удалось на дележ попасть. Узнал, что из Сибири большую сумму привезли и будут делить у матери Иринархи в обители. На ту пору был я у матери Иринархи по какому-то делу, а у нее купеческая дочка из Москвы жила и со мной, грешным делом, по тайности в любви находилась. А скитские девки, я вам доложу, беда какие неотвязчивые; ежели с которой сошелся, требует, чтобы чаще в гости жаловал, а ежели долго в ските не бывал, плачет, укоряет — забыл-де меня...

— Знаешь ли что, — говорю возлюбленной своей. — Ведь у вас завтра собрание будет, а мне больно хочется

посмотреть на него. Я бы сегодня так сделал, будто уеду из скита, а сам у тебя в светлице останусь, ты мне ихнее-то собрание из тайничка и покажешь.

Обрадовалась моя Варвара Абрамовна, что целые сутки у ней в светлице пробуду... Велел я письмоводителю мою шубу надеть, да чтоб по голосу его не признали, приказал ему пьяным быть, и вышло так, будто я напился до бесчувствия, и меня, положивши в сани, из скита вон увезли. Целые сутки пробыл я у Варвары Абрамовны, а под вечер через тайничок вниз спустился и стал возле Иринархиной кельи. Дырочка там проверчена: все видно.

Собрались матери, приказчика привели, что деньги привез, помолились, письма прочитали, канон за умершего пропели, кутьи поели и уселись — деньги делить. Самая полночь была. Только что деньги на столе они разложили, я из тайника да середь честной компании и стал.

— Здорово ль,— говорю,— поживаете, преподобные матери?.. Что ж меня-то в долю не принимаете?

Заметались. А при мне охотничий рог был. Затрубил... Сотские да рассыльные — а им наперед велено было тайным образом к ночи вокруг обители собраться — голос стали подавать.

— Слышите,— говорю,— матери? Мои-то молодцы русака в скиту учуяли! Да не ты ли русак-от, почтенный? — говорю приказчику.— Кажи паспорт!

— Паспорта нет; в городе на квартире,— говорит,— покинул.

— Это мне все равно. Ежели при тебе паспорта нет, милости просим в кутузку.

— Да я,— говорит,— купеческий сын.

— А хотя ты и купеческий сын, да есть пословица: от тюрьмы да от сумы никто не отрекайся. Сидят в тюрьме и дворяне, не то что ваша братья, купцы.

Так да этак: смиловался я, отпустил приказчика. Три тысячи на ассигнации мне досталось. Читали ль матери заказной псалтырь, нет ли — того не знаю.

А уж как лежковерны они, так просто на удивленье! Жила в Чернушинском ските средних лет девка, звали ее Пелагея Коровиха. Жила у матерей долго, скитские порядки знала; да скружилась, ее и прогнали. В город переехала. Сайки на базаре продавала, с печенкой у кабака сидела — перебивалась этакой торговлей. Познакомилась она с отставным солдатом Ершовым, что лет

с десятков при земском суде в рассыльных был, по всему уезду знали его. Запивать стал — потерпели, потерпели, однако выгнали, наконец. Приходит он к Коровихе, на судьбу плачется: «Не знаю, говорит, что и будет со мной; удавиться думаю, хуже будет, как с голоду помру». Посоветовались — да и придумали штуку! Обрезала Коровиха косу, добыла где-то вицмундир, чиновником оделась, орден святого Станислава на шею надела. Достали лошадей, Коровиха в сани, Ершов на козлы, да ночным временем в скит, только не в тот, где Коровиха жила, а в другой, где не знали ее. А по уезду еще не было известно, что сменен Ершов, и он по дороге рассказывает, что послан исправником при чиновнике, что по раскольничьему делу из Петербурга приехал. Перед Коровихой все шапки ломают; видят, барин большой: крест на шее.

Приехали. Разбудил Ершов настоятельницу. «Вставай, говорит, скорей, мать Евфалия: беда твоя до тебя дошла. Чиновник из самого Питера приехал. Чуть ли часовню не станет печатать». Евфалия заохала. Ершов ей свое:

— Меня,— говорит,— исправник нарочно с ним послал, чтоб тебе, по силе возможности, какую ни на есть помощь подать.

— Кормилец ты мой!..— завопила Евфалия.— Помоги ты мне старой старухе, а уж я тебя не оставлю... Заставь за себя бога молить!..— А сама меж тем Ершову в руки зелененькую.

— А ты вот что, мать Евфалия,— говорит Ершов,— сделайся-ка с ним, как знаешь; поблагодари его честь. Исправник велел сказать, что он подходящий, благодарить его можно.

— Дай бог здоровья его высокородию Петру Федоричу,— говорит Евфалия,— что на разум наставляет меня, старую да глупую.

А чиновник-Пелагея уж в келье... Очки на носу, бумаги разбирает. Вошла к нему мать Евфалия ни жива, ни мертва.

— Как тебя звать? — крикнула ей Коровиха.

— Евфалия грешная, ваше превосходительство.

— По отце?

— То есть по-белически-то зовут меня Авдотья Маркова; а это значит по-иночески: Евфалия грешная.

— Да разве ты смеешь иноческим именем называться? — закричала Коровиха и ногами затопала.

Да приподнявши платок, что Евфалия на себя в роспуск накинула, увидала под ним и манатейку и венец... Пуще прежнего закричала:

— Это что такое?.. Это что надето на тебе?.. Не знаешь разве, что за это вашу сестру в острог сажают? В кандалы старую каргу,— крикнула Ершову Коровиха,— в острог ее, шельму, вези!

— Слушаю, ваше превосходительство! — говорит Ершов.

— Подай из саней кандалы! — крикнул он, выйдя в сени, извозчику.

Ровно гром грянул в обители: в ногах валяются, милости просят. Тут и промахнись Коровиха.

— Давай,— говорит,— десять целковых да штоф пеннику.

Тотчас принесли и деньги и пеннику... Только тут все и поуспумнились: что ж это за важный чиновник, коль за дело, что тысячи стоит, только десять целковых потребовал... Опять же ни мадеры, ни рому, ни другого дворянского пойла ему не надобно, а вдруг подай пеннику!.. Неподалеку от скита исправник в то время на следствии был... Ему дали знать, тот нагрянул. Входит в келью, а Коровиха с Ершовым, штофик-от опорожнивши, по лавкам лежат. Так и взяли ее в вицмундире и с крестом нашее. По суду три года в рабочем доме потом просидела.

Чего в тех скитах не творилось! Да вот хоть про друга моего, про Кузьку Макурина рассказать. Был он из удельных крестьян¹, парень еще молодой. Отец у него кузничил, а когда помер, довольно деньжонок сыну оставил, и дом — полную чашу, и кузницу о двух наковальнях. Неразумному сыну родительское богатство впрок не пошло; не понравилось Кузьке ремесло отцовское: ковать жарко, продавать холодно. Черной работы не жаловал, захотелось ему, белоручкой жить — значит, от кузницы подалее, меньше бы копоты было. Годика в два родительское добро все до нитки спустил. К винцу да к сладкой еде привык, а в мошне-то пусто. И почал деньги ломом да отмычками добывать. Раз пять попадался, да каждый раз по суду в подозрении только оставляли. Поймали, наконец, на деле, в солдаты приговорили, потому что недели до совершенных лет у него не хватало.

¹ Крестьяне, состоявшие крепостными «первых помещиков» — членов царской фамилии.

На другой же день, как сдали его, он бежал. По деревням проживать опасно было,— он в скиты. Пришел к матери Маргарите: «Бегаю, говорит, от антихриста, и ты, матушка, меня в стенах своих сокрой».

Маргарита разжалобилась, взяла Кузьку на конный двор в работники. Тут он зажил припеваючи: сыт, пьян, одет, обут... А главное, живучи под крылышком Маргариты, никого не бойся, даром что беглый... Мы с ней жили в добром согласии. Иногда разве что скажешь ей: «Кузька-то у тебя больно пространно живет, спрячь его до греха». Ну и припрятет.

Кузька со мной подружился через то, что Маргаритину племянницу Евпраксию Михайловну мне предоставил. Изо Ржева была, купеческая дочка — с офицером провинилась, ее и послали к тетке стыд прикрывать. Скитское житье ей по нраву пришлось — осталась в кельях... Ну, Кузька, спасибо ему, помогал, очень даже помогал. Оттого и завелась у меня дружба с ним.

Неспокойный был человек. Чем бы, кажется, не житье ему было у матерей? Так нет, пакостить начал и скитниц мне выдавать. Шепнет, бывало: «Приходите, ваше благородие, тихими стопами ночью под Успеньев день к матери Феозве в моленную; беглый поп приехал, в полотняной церкви станет служить».

Нагрнешь, во всем чину службу застанешь. «Это что? Ты кто такой? Вяжи!» Матери забегают, ровно мыши в подполье: котора антиминос¹ за пазуху, котора сосуды в карман, с попа ризы дерет. А поп ровно хмельной, сам шатается, а норовит в угол, чтоб оттуда в тайник да скрытными переходами в другу обитель, а оттоле в лес. Знал я эти штуки-то: «Нет, говорю, отче святой, от меня не улизнешь, знаю я ваши мышинные норки, а протяника ты лучше стопы свои праведные, вон сотский-от хочет кандалы на тебя набивать».

Старицы в ноги:

— Батюшка, ваше благородие, положи гнев на милость!

— Дам я вам милость,— говорю.— Вяжи всех да подводы под них снаряжай... Всех в острог.

А они:

— Помилосердуй, милость на суде хвалится.

¹ Напрестольное покрывало, упогреблявшееся при богослужениях.

— Дам я вам милость!.. Вяжи всех да гаси свечи: часовню-то я запечатаю.

А сам из кармана шнурок, печать да сургуч. Всегда при себе держал: страх внушают.

— Да заставьте же, ваше благородие, за себя бога молить,— вопят старицы,— помилосердуйте!..

— Да что вы,— говорю,— пристали ко мне?.. Ничего не могу сделать, губернатор предписал. Сами знаете: твори волю пославшего.

— Да все в твоих руках, батюшка, ваше благородие!.. Как бог, так и ты!..

Дали. Попа в кибитку, а мы к Феозве чай пить да с белицами балясы точить.

Проведает Кузька: под моленну новы столбы подвели; скажет. Приедешь в скит, найдешь починку, запечатаешь моленную. Пообедаешь, разгуляешься, возьмешь, распечатаешь.

А на Кузьку ни одна из матерей подозрения не имела. Думают: «Свой человек, состоит по древнему благочестию, как же ему Иудой-предателем быть». А в своей обители, у Маргариты, пакостей он не творил.

Не одобровал, однако, у скитниц мой Кузька: очень уж безобразную жизнь повел, стали матери им тяготиться, а прогнать боялись, потому что, ежели прогнать, скит сожжет. Напился он раз с попом Патрикием донельзя и зачал спорить с ним о божественном... Спорили они, спорили — Кузька в ухо попа: «Я, дескать, тебя, ревнуя по истинной вере, аки Никола святитель Ария,— заушаю!..» А поп-от через день возьми да богу душу и отдай... Следствия не было: беглый беглого убил, оба люди не лицевые. Так оно и заглохло.

После того его и прогнали. По деревням шататься стал: где день, где ночь. Тяжело пришлось житье: в водке вкус позабыл. Конокрадством вздумал промышлять, да на первой клячонке попутал грех: поймали Кузьку,— ко мне.

— Что,— говорю,— попался?

— Попался,— говорит,— ваше благородие, такая уж судьба моя проклятая!.. А у меня до вас есть секрет.

— Какой?

— Важный секрет, ваше благородие. Могу сказать только один на один... Потому секрет по первым двум пунктам государственный секрет, ваше благородие...

Пошли в боковушу. Сказал.

Вышли мы с ним в канцелярию, стал я с Кузьки показанье снимать.

«Зовут меня Иваном; как по отце и чей родом, не помню; сколько лет, не знаю; грамоте российской читать и писать умею, в штрафах и под судом не находился, по девятой ревизии покуда никуда не приписан, движимого и недвижимого имущества за мной нет никакого, определенного промысла или занятия не имею, а прибыв в прошедшем году в здешний Пискомский уезд, занимался деланием фальшивой монеты. На такое ремесло был склонен торгующим по свидетельству третьего рода крестьянином Марком Емельяновым, каковой Марк Емельянов и научил меня, с помощью собственных его инструментов как российскую, так и иностранную монету чеканить. А ту фальшивую монету, из опасения подозрения и законного по суду воздаяния в случае открытия, производили мы в разных местах... — После того и пошел перечислять мужиков, что самые богатые были... Во свидетельство представлял два фальшивые талера и старинный целковый, тоже фальшивый.— И, сильно скорбя о содеянном преступлении и жестоко мучась угрызением совести, решился я в присутствии вашего благородия чистосердечно объяснить о содеянном мною преступлении, что вы уже и слышали от меня. Имею неотъемлемое право на справедливо заслуженное мною наказание и, предаваясь в волю закона, прошу со мною учинить, что правосудие повелевает».

Сделав такое показание, Кузька бойко подписался по всем статьям: «К сему показанию Иван, не помнящий родства, руку приложил».

Велел я заковать Ивана Непомнящего и поехал с ним да с понятыми к Марку Емельянову. Обыск произвели — ничего не отыскали. Марк, известно дело: «Знать не знаю, ведать не ведаю, впервой того человека и вижу». Поставил их на очную ставку.

Кузька говорит:

— Побойся бога, Марк Емельяныч, как же ты меня не знаешь? Да не я ль у тебя две недели выжил? Да не ты ль меня учил монету делать? Да не ты ль хвалился, что сделаешь монету лучше государевой?

Марк и руками и ногами, а Кузька ему:

— Нет, постой, Марк Емельяныч, у меня ведь улика есть.

— Какая улика? — спрашивает Марк Емельянов.

— А вот какая: прикажите, ваше благородие, понятым в избу войти.

Я велел, Кузька и говорит им:

— Вот смотрите, православные, под этой под самой лавкой я гвоздем нацарапал такие слова, что с первого по двадцать второе октября с Марком Емельяновым вот в этой самой избе я триста талеров начеканил.

Посмотрели под лавку,— в самом деле те слова нацарапаны.

Вязать было Марка — в острог сряжать, да сладились. От него к другим богатым мужикам поехали... И всех объехали. А как объехали всех, велел я Кузьке бежать, кандалы подпиливши, сам и пилочку дал ему. Дело заглохло.

А Кузька, извольте видеть, когда по деревням шатался, надписи такие у богатых мужиков царапал. Попросится ночевать Христа ради, ляжет на полу да ночью, как все заснут, и ну под лавкой истории прописывать.

После того Кузька попом оказался и до сих, слышь, пор попят. Есть на рубеже двух губерний, Хохломской да Троеславской, деревня Худякова; половина — в одной губернии, другая — в другой. В той деревне мужичок проживал, Левкой звали — шельма, я вам доложу, первого сорта, а промышлял он попами. Содержать беглых попов на губернском рубеже было ловко: из Троеславской губернии нагрянут — в Хохломскую попа, из Хохломской — в Троеславскую его. Левку все раскольники знали, от него попами заимствовались. С этим самым Левкой и сведи дружбу Кузька Макурин — днюет и ночует у него, такие стали друзья, что водой не разольешь. Рыбак рыбака далеко в плёсе видит, а вор к вору и нехотя льнет.

Лежит раз Кузька у Левки в задней избе на полатах, а поп под вечер, взъехавши к Левке да отдохнувши после дороги, сидит за столом. Избу запер, зачал деньги считать, что за требы набрал по окольности. Смотрит Кузька с полатей, а сам тоже считает: считал-считал и счет потерял. Слез тихохонько с печи, отомкнул дверь, вышел — поп не видит, не слышит... Кузька в переднюю.

Будит Левку: «Вставай, говорит, дело есть». Левка встал, Кузька ему говорит: «Поп деньги считает, я подсмотрел. Такая; братец, сумма, что за нее не грех и в тюрьме посидеть. С такими деньгами, Левушка, век свой можно сча́стливу быть, на́ Низ¹ можно сплавиться, в купцы там приписаться».

Соблазнил.

— А видывал ли когда тебя отец-от Пахомий? — спрашивает Левка.

— Отродясь, — говорит Кузька, — не видывал.

— Делай же вот как, да вот как.

Пошли приятели в заднюю, где поп-от свои дела правил... А хоть дверь и отперта была, все-таки, чтоб Пахомию не подать сомненья, Левка постучался, входную молитву творя.

— Амины! — ответил поп из избы. — Кто там?

— Я, батюшка отец Пахомий, хозяин.

— Сейчас, свет, отопру... Эко диво како! Дверь-то была отомкнута!.. Забыл, видно, запереть, вот ведь память-то какая у меня стала.

Вошли Левка с Кузькой. А деньги у попа уж припрятаны. На́чал положили у Пахомия, простились и благословились.

— Вот, батюшка, отче Пахомие, — говорит Левка, — наш христианин, именем Косьма, «исправиться» желание имеет; давно мне кучился свести его к иерею древлего благочестия.

Кузька в ноги попу. «Прими, говорит, отче святой, на́ дух».

— Бог благословит чадо, — ответил Пахомий, — время теперь тихое, исправлю, пожалуй.

Левка вышел, Пахомий епитрахиль надел, требник на налой положил. «Клади на́чал!» — говорит.

Положили на́чал. Лег Кузька ничком, Пахомий ему голову епитрахилью покрыл и начал «исправу»:

— Рцы ми, чадо Косьмо...

А Кузька поднял голову, говорит ему:

— Отче святой, совесть-то моя очень сумленна, — рцы ми прежде: по отлучении от великороссийския церкви принял ли ты «исправу второго чина» с проклятием ере-се́й?

¹ На́ Низ — в низовья Волги.

— Нет, чадо,— говорит Пахомий,— «исправе второго чина» и проклятию ересей аз грешный по правилам не подлежу, того ради, что и крещение имею старое и рукоположение старое.

— А где ж ты старое-то рукоположение сыскал? — спросил Кузька, став на ноги перед Пахомием.— Кто тебя в попы-то ставил?

— Да не смущается сердце твое, чадо Косьмо, ведай, яко имама ныне архиереев древлего благочестия. Начало же сему произволению бысть сиецвое.

— Ну, послушаем, пожалуй, какое тут у вас было произволение,— молвил Кузька, садясь на лавку.— Садись и ты, отец Пахомий, рассказывай, какое было произволение.

— Есть, мой свет, киновия Белокриницкая¹. Исперва обитаема была едиными токмо мнихами, священных же особ в себе не имела, ныне же божиею к нам милостию получила архипастыря. Все несумнящиеся о сем христиане, елико обретается их в поднебесной, в том уверены. Та киновия, влекуще сѣмя свое от древних оных кубанцев, рекше некрасовцев, зашедших туда с большим количеством народа, с женами и детьми. И тако сии вышереченные кубанцы, рекше некрасовцы, поселишася в Туречине, по реке Дунаю, и во упражнении своем занятием рыболовства...

— Да ты балясы-то не точи, говори настоящее дело. Какое произволение-то было?.. Кто тебя в попы-то ставил?

— Внимай, чадо Косьмо, дивному промыслению и не борзися... Сим бо случаем дивная вещь содеяся и памяти достойна.

— А ты лишнего-то не мели, сказывай, кто таков?

— Аз многогрешный прежде был господским крестьянином и немалое время находился приставником при псовой охоте. Обаче распалихся желанием иерейства, оставя господина, приидох к епископу нашему Софронию и молих его, да поставит мя во иерея. Он же по многом испытании рукоположи мя у единого мужа благочестива на пчельнике и даде ми одикон², рекше путевой престол, и церковь полотняную.

¹ Белокриницкий монастырь.

² То же, что антиминос — см. примеч. на стр. 40.

— Так ты, попросту сказать, беглый псарь?

— Не глумися, чадо Косьмо, рцы же ми своя согрешения...

— А ведь ты мошенник, отец Пахомий! Из псарей в попы на пчельнике поставлен!.. Ай да святитель!.. Знаю Софрона-то я. Ведь это Степка Жиров, что в Москве постоянный двор в Вороньем переулке держал, что попа Егора утопил?.. Знаю, все знаю, и другого вашего пастыря знаю, Антония, что прежде Шутовым прозывался. Так ты из этаких!.. А сколько ты, собашник, христианских-то душ погубил, их исправляючи? Да знаешь ли ты, что твое место в Сибири?

Хвать его за честную браду и «караул» закричал. Левка с веревкой вбежал, скрутили попа, вытащили его на улицу, сбежался народ: кто за попа, а кто кричит: «Вези его в город!..» Кутят ему Кузька в полы-то положил: «Вот, говорит, твои прихожане!» Поглумились этак над Пахომием и пустили его на четыре стороны, а деньги и весь скарб у Левки остались.

На другой день приходит уставщик от Пахомия.

— Деньги-то,— говорит,— возьмите, подавитесь ими, окаянные, ящик-от только отдайте... Без него отцу Пахомию никак невозможно.

— Эка что вздумал!.. — молвил Кузька Макурин.— Да я такого ящика пятый год добиваюсь. Пойду на Урень,— сторона глухая, народ слепой,— стану попить не хуже твоего псаря. Так ему и скажи.

Заплакал инда уставщик: за ящик-от Софронию никак тысяча была заплачена, а теперь все пропало ни за денежку.

Вскрыли ящик: там и одикон, и полотняная церковь, и прочее, что нужно, и ставлена грамота.

— Эка умница этот Жиров! — молвил Кузька.— Не пишет примет в ставленной-то... Хоть я Пахомию во внуки гожусь, а с этой ставленной могу и Пахომием быть. Прощай, Левушка — деньги все себе бери, с меня и ящика довольно. Вот каким попом буду, сам ко мне на исправу придешь... Приходи, Левушка: все грехи отпущу и гроша не возьму.

Так и поделились. Левка с деньгами на Низ уехал — и там расторговался. А Кузька за Пахомия и до сих пор попит...

Так вот с какими я людьми хороводился! Вот какие дела делывал! Да мало ль чего ни бывало... Всего не перескажешь.

Ничего в свое время не огласилось, пред судом человеческим ничего не явилось. Но все было ясно пред неумытым судиею... И послал он мне наказание достойно и праведно.

Петербург
1857

НЕПРЕМЕННЫЙ

Живя в богоспасаемом граде Бобылеве, познакомился я со всеми его обывателями, от городничего и соборного протопопа до сапожника Абросима и коллежского секретаря Маурина, что состоял под надзором полиции «за некоторые дебоши в одном из столичных городов Российской империи», как он выражался.

Хаживал ко мне Андрей Тихоныч Подобедов — «непременный». Это значит непременный заседатель земского суда. По уездам, с учреждения станowych, вывелось старинное слово «заседатель», и непременного заседателя земского суда стали звать просто «непременным».

Это было плешивенькое, коренастое создание, вечно в форменном с гербовыми пуговицами сюртуке и в мухояровых панталонах. Добрейший был человек, всякому старался услужить, а к службе до того был усерден, что хворал только в табельные дни. Что всего замечательнее — не пил.

Он из старинных столповых, но захудалых, мелкопоместных дворян. За отцом его по пятой ревизии¹ в Д. губернии было записано двенадцать душ крестьян. С течением времени имение его «пропало без вести».

— Затерялось-с, затерялось, — с грустью и глубокими вздохами говаривал Андрей Тихоныч. — А теперь, пожалуй, душ двадцать пять народилось бы. Такое уж несчастье!.. Следов отыскать не могу. Пропали души, да и все тут.

— А земля-то куда ж девалась, Андрей Тихоныч?

— И земля затёрялась...

— А документы?..

¹ Ревизия — перепись населения в XVIII и первой половине XIX века. Последняя — десятая ревизия — проходила в 1856 году.

— И документы затерялись... Так-таки все затерялось. Что станешь делать? Видно, уж на то воля божия.

— Что ж вы не хлопотали?

— Два раза пробовал, да толку не выходило.¹ На гербовые только истратился. Еще, слава богу, по манифесту простили. Не то просто беда — разориться бы мог. Вот вы, Андрей Петрович, в Петербурге служите, стало быть все знаете... Скажите бога ради, не предвидится ль по скорости милостивого манифестика.

— Кто ж это, кроме государя, может знать?.. А вам что?

— Да еще бы разок попробовал: авось вывезет. А не вывезет, так по крайности тем бы был спокоен, что гербовых не привелось бы платить.

Родитель Андрея Тихоныча служил, по выбору дворян, в земском войске 1807 года и потому носил золотую медаль на владимирской ленте, мундир с малиновым воротником и шляпу с зеленым пером. Служил в Бобылеве по выборам до смерти, а умер без гроша. В наследство Андрею Тихонычу, кроме без вести пропавших двенадцати душ, достался домашний скарб, турецкий кинжал, ружье Лебеды да ста полтора книг екатерининского времени, большею частью разрозненных. Тихон Алексеич Подобедов жалел народ, оттого и помер нищим. За то крестьяне всего Бобылевского уезда служили по нем панихиды, записали имя его в своих поминаньях. Старики до сих пор добрым словом его поминают.

Единственный его сын, Андрей Тихоныч, чуть не босиком бегал в уездно училище, а научившись там писать скорописью, был взят родителем из храма Минервы¹ и введен во храм Фемиды², говоря классически, а если попросту сказать — поместил его в первое повытье³ бобылевского уездного суда. Тихон Алексеич говаривал: «Уездный суд — всему начало и всему голова, тут молодой человек всему навывкнет, тут и тяжёбные дела, и уголовные, тут всего лучше начинать службу».

Года через три Андрей Тихоныч получал уже по сороку пяти копеек в месяц жалованья. Каким богачом

¹ Минерва — в древнегреческой мифологии богиня, покровительница ремесел, наук и искусств.

² Фемиды — в древнегреческой мифологии богиня правосудия.

³ Часть канцелярии, то же, что теперь называется «столом».
(Прим. автора.)

казался он товарищам! Те, получая такое же вознаграждение, были обязаны содержать кто мать старуху, кто вдовую сестру с ребятишками, кто слепого отца калеку. А Андрей Подобедов живет у отца на готовом: сыт, одет, обут да еще сорок пять копеек в месяц... Богач!.. Шереметев!..

Еще при жизни родителя Андрей Тихоныч получил регистраторский чин и получал жалованья по девяносто по восьми копеек в месяц, без вычета на госпитали и раненых. Он уж обзавелся тросточкой и важно ею помахивал, прогуливаясь по дырявым тротуарам Бобылева, обзавелся зелеными замшевыми перчатками и на кровные денежки справил суконную шинель горохового цвета «с семидесятью семью воротничками» — верх щегольства того времени.

Счастливый, довольный и собой и миром, двадцатилетний Андрей Тихоныч стал помышлять о подруге жизни. На уездных вечеринках присосеживался к Оленьке, дочери магистратского секретаря, говорил ей про свое сердце, и хоть она ему про свое ничего не сказывала, однакож Андрей Тихоныч смекал, что и красненькую ленточку на груди Оленька для него прикалывает и височки колечком потому приглаживает, что ему так нравится...

Вдруг его родитель, Тихон Алексеич, скушавши за ужином шесть сковородок грибов в сметане, к утру лежал на том столе, где накануне кушал вкусные, сочные безрезовики. Он был первой жертвой первой холеры в Бобылеве... Остался Андрей Тихоныч один на своих руках. Еще слава богу, что ни за ним, ни перед ним никого не было: один как перст. А осталась бы обуза на руках: мать, например, аль сестры незамужние, не та б участь ему впереди была. Пустился б во вся тяжкая, спился бы с круга. Всегда так бывает.

Увидал, что на девяносто восемь копеек безо взяток жить нельзя. А взятки брать не выучился. Пробовал, да они мимо его к секретарю проскакивали. Ему работа да на совесть гнет, а секретарю денежки. Горько стало Андрею Тихонычу. Об Оленьке и думать перестал, да и она, видя, что от него толку не будет, вышла за инвалидного поручика и зажила домком насчет солдатиков.

Тошно стало Андрею Тихонычу в Бобылеве. «Хоть землю, думает, буду копать, хоть воду стану носить, а

перееду в губернию... Авось там другая мне линия выпадет».

«Экой я счастливец»,— подумал он, когда совершенно неожиданно получил место в одном губернском присутственном месте. Жалованье хорошее, и душа спокойна, оттого что взятки брать ни с кого не приходится. Знай, лупи, дери одну казну матушку... А это разве грех...

Служил, служил Андрей Тихоныч, пряжку беспорочную выслужил, титулярного получил. Человек смирный, покорный, безответный, каждое слово начальства, ровно слово из Неопалимой Купины принимал. Оттого и начальство его возлюбило: каждый год Андрей Тихоныч получал наградные из остаточных сумм. От тех наград да от крупниц, что от казенной соли перепадали, составил у Андрея Тихоныча капиталчик тысяч в пять ассигнациями.

Однажды занимался он в кабинете его превосходительства господина статского советника Александра Иваныча. И до сих пор в провинции статских советников зовут превосходительством, а это было еще в те времена, когда статским советникам давали станиславские звезды без ленты. Как же со звездой-то да не генерал? Сановник!..

Таким звездоносцем-сановником был Александр Иваныч фон Кабрейт. Правил он много лет казенной палатой—казенная соль, винокуренные заводы, откупщики, рекрутские наборы, торги на поставки и подряды, купеческие свидетельства, казенные леса, оброчные статьи, перечисление душ— всё под его властной рукой... И статьи-то какие все жирные!.. На пять, на десять таких сановников разделить— все бы сыты были... И разделили по времени— государственные имущества в особую палату отвели и Василья Трофимыча над ними посадили. И Александр Иваныч доходов не лишился, и Василий Трофимыч разбогател. А приехал в губернию в одной шинелишке.

— А что,— сказал Александр Иваныч, когда Подобедов кончил работу,— женат ты, Андрей Тихоныч?

Сроду впервые начальство по имени по отчеству его назвало. У Андрея Тихоныча в глазах зарябило: будто крестик в петличку подвесили. И то опять, о чем спра-

шивает его превосходительство. Не по службе, а по делу, можно сказать, партикулярному¹.

— Никак нет, ваше превосходительство,— задыхаясь от душевного волнения, едва мог проговорить Андрей Тихоныч.

— Тебе бы, братец, жениться... Ты человек уж степенный.

Растаял Андрей Тихоныч.

— Как прикажете, ваше превосходительство,— чуть слышно пробормотал он.

— Приходи ко мне завтра вечером... Часу этак в восьмом... Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да оденься почище... К невесте поедем.

— Слушаю, ваше превосходительство,— не веря ушам, молвил Андрей Тихоныч.

Какая милость низошла по благости божией! И на мысль не впадало, во сне не грезилося!..

Ног не слышал под собой, когда в темную, дождливую осеннюю ночь крупно и спешно шагал он по липкой грязи, возвращаясь от его превосходительства в дальний конец города, где нанимал горенку у вдовой дьяконицы... «Какое счастье, какое вниманье начальства!» — думал он. Целую ночь заснуть не мог. Приходило в голову о невесте: «Кто бы такая была?.. — раздумывал он. — И собой какова, молода ль, не ряба ли, иль какого изъяну не имеет ли?» Мысль о милости начальства вытесняла, однако, нескромные мысли о невесте. «Ну ее совсем! Милость его превосходительства, вот это дело... По имени по отчеству! Вместе, говорит, поедем!.. Вместе!.. Да этого он секретарю не скажет!»

На другой день разодетый, распомаженный Андрей Тихоныч явился в назначенное время. Тотчас позвали его в кабинет. Александр Иванович одевался:

— Ты куришь? — спросил его превосходительство. — Гришка, трубку Андрею Тихонычу.

Если б коленопреклоненное королевство, долго и тщетно отыскивая себе властителя, как, например, Испания, а в былые времена Польша, — со слезами и с рыданиями сказало Д-ской казенной палаты столоначальнику: «Андрей Тихоныч, бери корону, царствуй над

¹ Частному.

нами!» — едва ли б слова будущих верноподданных настолько смутили его душу, насколько смутили ее слова Александра Иваныча. Его превосходительство трубку табаку изволит предлагать!.. Сам изволит предлагать!.. Не сонное ль видение?.. Нет, Гришка сует ему в руку длинный черешневый чубук с громадным янтарем... Дрожат руки у Андрея Тихоныча, от умиления и слезы в глазах и зелень туманом.

— Да ты садись,— молвил его превосходительство, застегивая помочи.— Садись вот здесь на диване. Покойнее будет.

Язык отнялся у бедного. Хотел что-то сказать, не смог. В блаженстве таял.

«Батюшка, батюшка! — думал, он,— видишь ли?.. Видишь ли ты, до какой чести дожил твой Андриюшенька?»

Слезы градом лились у Андрея Тихоныча.

— Что с тобой? — спросил Александр Иваныч.

— Так-с, ничего, ваше превосходительство. Покойника батюшку вспомнил...

— Похвально, молодой человек (а молодому человеку было за тридцать за пять). Действительно, в столь важную минуту жизни должно призывать благословение родителей... Хорошо, мой друг, хорошо!.. Похвально!.. — прибавил Александр Иваныч, целуя Андрея Тихоныча.

От полноты чувств коровой заревел Андрей Тихоныч. Насилу отпоил его Гришка холодной водой.

— Садись,— сказал Александр Иваныч, когда Андрей Тихоныч, как столб, стоял на крыльце перед каретой его превосходительства.

«На козлы аль на запятки?» — пришло на ум Андрею Тихонычу. Лакей втолкнул его в карету.

«Батюшка, батюшка! — чуть не вслух сказал Андрей Тихоныч.— Видишь ли?»

В первый раз в жизни он ехал в карете... И с кем?..

Приехали на «дачу». Так в губернском городе Д... у великих людей звались домики, где цвели роскошные цветочки... Цветочек Александра Иваныча — одна из многочисленных сестер Стрельских, что, служа по крепостному праву князю Кошавскому, служили с тем вместе, кто Талии, кто Мельпомене, кто Терпсихоре¹ в до-

¹ Талия, Мельпомена, Терпсихора — в древнегреческой мифологии музы — покровительницы искусств: Талия — комедии, Мельпомена — трагедии, Терпсихора — танца.

шатом ветхом балагане. По святцам Пелагея, по театру Полина Ивановна, служила Терпсихоре, но, отбив об неровный пол театра резвые свои ноженьки, пятый год верно, нелицемерно служила Александру Иванычу. А он ее за то на волю откупил...

Видел Андрей Тихоныч ярко освещенные комнаты... Видел, как его превосходительство, с словами «вот твой жених, Поленька» подвел его к грузной барыне в распашном капоте. Видел, как она сунула ему в губы жирную руку... Видел, как подали шампанское...

Как во сне. И как он с ума не сошел?.. Золотые часы, серебряная табакерка, енотовая шуба, а главное — милость начальства, и супруга, кажется, не строгая!..

Сыграли свадьбу, и зажили домком Андрей Тихоныч с Полиной Ивановной... И к Александру Иванычу попривык Андрей Тихоныч, не с прежней робостью говорил с ним. А говорил нередко, потому что господин фон Кабрейт, хотя свою Полину замуж и выдал, однакож, нет, нет, да, бывало, и завернет к ней вечером посидеть. О том, о сем покалякают, потом его превосходительство и скажет Андрею Тихонычу: «Что ты, братец мой, все дома сидишь? Съездил бы хоть в театр, что ли, аль к кому из знакомых. Отъезжай на моих дрожках, ежели хочешь». И поедет, бывало, в гости Андрей Тихоныч...

Месяца через три после свадьбы Полина Ивановна сынка принесла. В тот же день навестил молодых Александр Иваныч: родильнице билет в тысячу целковых «на зубок» положил, Андрея Тихоныча крепко обнял и раз пять поцеловал.

— Ты ведь дворянин? — спросил его превосходительство Андрея Тихоныча.

— Так точно, — робко ответил Андрей Тихоныч.

— В родословную записан?

— Так точно, ваше превосходительство...

— Отец твой дослужился до дворянства?

— Никак нет, ваше превосходительство. Наш род старинный, столповой, в шестой части родословной книги¹. И в Бархатной книге² записан, при Симеоне Гор-

¹ В шестую часть родословных книг заносились лишь знатные дворянские роды.

² Бархатная книга — родословная книга, в которую входили лишь знатнейшие княжеские, боярские и дворянские роды.

дом наши предки на Москву выехали. Так в нашей грамоте прописано...

— Очень рад, очень рад! — сказал Александр Иванович. — Стало быть, новорожденному не нужно, чтоб у тебя Станиславчик в петличке висел, или чтоб ты коллежским асессором был. Очень рад!.. А то в нынешнее время это немножко затруднительно... Об сыне не беспокойся — бог даст подрастет, дорога ему будет.

Сунул в руку Андрею Тихонычу ломбардный билет в десять тысяч ассигнациями, еще поцеловал его со щеки на щеку и уехал, говоря на крыльце счастливому супругу:

— Очень рад, что сын твой старинный дворянин, очень рад...

Подарил его превосходительство Полине Ивановне домик в Бобылеве. Ни на что он ему не пригоден был, и достался-то поневоле: за долг ли оставил его за собой Александр Иванович, другое ль что-то в таком роде было.

Подоспели дворянские выборы, его превосходительство говорит Андрею Тихонычу:

— Хочешь в Бобылев в непременноые?

Света не взвидел Андрей Тихоныч... Место, на котором отец его помер, про которое и мечтать не смел.

— Ваше превосходительство!.. Ваше превосходительство!.. — только и мог он выговорить, всхлипывая от подступавших рыданий...

— Я тебя выберу.

И выбрал.

В Бобылевском уезде Александр Иванович сам друг заправлял всем на выборах. Других крупных помещиков не было.

Бобылевский уезд обыкновенно присоединяли к Чернолесскому. Его превосходительство каждый раз, бывало, и говорит чернолесским дворянам: «По вашему уезду я буду класть кому куда прикажете, а по «моему уезду» по-моему делайте. Ведь мне, а не вам с выбранными чиновниками придется три года возиться. Так уж вы сделайте милость».

Чернолесские по его и делали. Оттого в Бобылеве губернатора не столько трусили, сколько Александра Иваныча.

Таким образом его превосходительство и сделал Андрея Тихоныча непременноым.

И как был ему он благодарен... Того ему и в голову прийти не могло, что Полина Ивановна поизмялась и его превосходительству свеженькой захотелось, ради чего и выбрал он Андрея Тихоныча в непременно.

В первое наше свиданье спрашивает Андрей Тихоныч меня, привставая со стула:

— Как в своем здоровье его превосходительство Александр Иванович, осмелюсь вас спросить?

— Какой Александр Иванович?

— Его превосходительства Александра Ивановича не знаете? — с удивлением вскрикнул Андрей Тихоныч. Не могло у него сложиться мысли, чтоб кто-нибудь мог не знать его превосходительства. — Напрасно, напрасно, — говорил он, озадаченный моим вопросом, — человек известный. Да вы его в Петербурге должны были знать. Ведь он туда каждый год ездит, — прибавил Андрей Тихоныч.

— Петербург не Бобылев, Андрей Тихоныч. Мало ль там народу? Всех не узнаешь, — сказал я.

— Не имел счастья бывать в Петербурге, а надо полагать, что таких людей, как его превосходительство Александр Иванович, и там не очень много, — возразил Андрей Тихоныч... — Пятьсот душ отличнейшего имения, статский советник, звезда!.. От самих господ министров почтён!.. Таких людей немного, очень даже немного... Это уж позвольте вам доложить... Не может быть, чтоб по всей Российской империи много было таких людей. Если бы его превосходительство продолжали службу, могли бы губернатором быть, даже министром, потому что ум необыкновенный.

— Отчего ж он не служит?

— Н-н-нельзя-с, — немножко помявшись, ответил Андрей Тихоныч.

— А что?

— Неприятность в некотором роде, — подсудность небольшая.

— А!

— Не подумайте, что за небрежение по службе. Нет-с. По злобе, единственно по злобе врагов. У кого их нет, Андрей Петрович? У всякого есть! А дело его превосходительства, можно сказать, самое пустое: — о казенной поставке...

— А! О поставке! Что ж, видно, поставка-то не поставилась?

— Правильно изволили сказать, но сами согласитесь, ведь соль — материал сырой. Мало-мальски водой ее хватит, тотчас на утек, и превращается, можно сказать, в ничтожество. Его превосходительство Александр Иванович об этом своевременно доносили по начальству: буря, дескать, и разлитие рек, и крушение судов. Следствие было произведено, и решение последовало: предать дело воле божией. А враги назначили переследование. Тут воли-то божией и не оказалось. Понимаете?..

— Что ж теперь поделывает ваш Александр Иванович?

— Четвертый год старается, нельзя ли третьего следствия выхлопотать. Авось бы опять на волю божью поворотили...

И в своих и в казенных делах Андрей Тихоныч точен до самых последних мелочей. Любил порядок.

Верстах в двенадцати от Бобылева проживал в своей деревушке мелкопоместный помещик Чоботов Михайло Алексеич. Раз в сентябре приезжает к нему Андрей Тихоныч. Помещик рад; Андрея Тихоныча все любили. А все-таки член земской полиции, спрашивает хозяин: не по делу ль.

— Я ничего, сударь ты мой, Михайло Алексеич. По соседству от вас был — у Лизаветы Ивановны; и к вам завернул «освидетельствовать» почтение.

Лизавета Ивановна, тоже мелкопоместная, жила в усадьбе верстах в трех от Чоботова.

— Ну так милости просим. Как, по-вашему, за чаек аль прямо за водочку? — спрашивает Чоботов.

— Благодарю покорно, Михайло Алексеич, я ведь на минуточку. Развяжите вы меня Христа ради с Лизаветой Ивановной... Будьте милостивы.

— Что такое, Андрей Тихоныч?

— Да вот какое дело, сударь ты мой. Год нынче вышел такой: гусей нелегкая больно много уродила. Кто, бывало, прежде цыплятами снабжал, нынче все гуся шлет, кто прежде свинью привозил, и тот нынче с гусями лезет. Такое, сударь мой, окаянство — просто беда. Гуся не охаешь, птица добрая, да расходу много, проклятая, требует, обжорлива очень. Колоть теперь рано: и перо слабо, и потроха не жирны, и сала немного.. Откормить к казанской да свезти в губернию, можно будет барыши иметь, да кормить-то, сударь ты мой, чем станешь?.. Самим вам, Михайло Алексеич, известно, какой

нынче на овсы-то урожай. Вовсе их нет. И прежде-то ко мне немного овса подвозили, а нынче, поверите ли вы богу, воза порядочного не собрал. Ей-богу, право, не лгу... Что мне лгать-то?.. Я человек простой.

— Так что же вам, Андрей Тихоныч?.. Овса, что ли, велеть насыпать? — спросил Чоботов.

— Какой с вас овес? — с негодованием воскликнул Андрей Тихоныч. — Сохрани господи и помилуй овсом от вас взять!.. Как это можно!.. А вот мучки ржаной так пора бы прислать, Михайло Алексеич. Чать уж обмолотились.

— Не намолотили еще, Андрей Тихоныч.

— Ну ладно, дело не к спеху... Так вот я об Лизавете-то Ивановне. Вся у меня на нее надежда была, думаю, даст возик овсеца, гуси-то у меня и откормятся. Приехал к ней в Трегубово: «Так и так, мол, сударыня, не погуби гусей, дай овсеца». А она: «Рада бы радешенька, говорит, Андрей Тихоныч, не пожалела бы для тебя, да ведь грех-от, говорит, какой у меня случился, овсы-то еще в бабках на поле, хоть сам погляди». — «Как же, говорю, Лизавета Ивановна, околевать, что ли, гусям-то? Помилуйте, говорю, матушка, колоть, что ли, мне их спозаранок-то? Изубытчусь ведь. Пожалей». А Лизавета Ивановна: «Поезжай, говорит, к Михайле Алексеичу, у него овсы смолочены, он тебе не откажет». Я ей и так, и сяк... Нет, сударь, уперлась баба: поезжай да поезжай к Михайле Алексеичу, да и все тут... Уж я ей толковал, толковал, никак, сударь, под лад не дается. Баба так баба и есть, хозяйства понимать не может.

— Что ж, — сказал Чоботов, — коли надо, так я дам овса.

— Помилуйте, Михайло Алексеич... Да как же это возможно? Как же такие непорядки вводить? — с сердцем вскрикнул Андрей Тихоныч, с места даже вскочил.

— Какие же непорядки, Андрей Тихоныч?.. Не понимаю я вас, растолкуйте, пожалуста.

— Сделать по-вашему, — поля перемешать, хозяйство, значит, спутать. Разве это порядки? Скажите на милость, порядки это али нет?

— Хоть убейте, не могу понять.

— Да разве вы не знаете, как у меня уезд-от поделен? У меня вот как заведено, сударь ты мой, — важно и серьезно начал Андрей Тихоныч. — По сю сторону речки

Синюхи все господа помещики на ржаном состоят, а по ту сторону на яровом. С вас, с Петра Егорыча, с Анны Никитишны беру ржаной мукой, а с Лизаветы Ивановны, с Егора Пантелеича — овсом, гречей, горохом. Как же мне с вас овсом-то взять, когда вы во ржаном поле состоите? Этак, батюшка, и концов не сведешь... Поля перепутать, — хозяйство сбить.

Как Михайло Алексеич ни ублажал Андрея Тихоныча взять с него овсом, не согласился. Уперся как баран в стену рогами, никаких резонов не принял. «Не спутаю хозяйства», да и полно...

Покончили на том, что Михайло Алексеич послал Лизавете Ивановне овса взаймы, и она, как помещица яровая, отдала этот овес Андрею Тихонычу. Когда же, уладив дело, Михайло Алексеич хотел послать овес на своих лошадях в город к Андрею Тихонычу, тот не согласился и на том настоял, чтоб овес был отвезен к Лизавете Ивановне, а она бы уж его в город отправила.

Вот какой точный был человек Андрей Тихоныч.

И все в Бобылеве любили его, и он всех любил. Душа была у него самая мягкая, каждому был рад услужить чем только мог. Чиновники, бывало, о нем: «А наш-от блаженный! Он ничего. Пороху не выдумает, а человек тихий». Мужики в один голос: «Такого барина, как Андрей Тихоныч, ввек не нажить. И родитель был душа-человек, а этот и того лучше; всякому доступен, всякого по силе-возможности милует. Много за него господа молим».

А был же и у него враг. При всем благодушии, при всей кротости не мог Андрей Тихоныч говорить про него равнодушно. Это был бобылевский почтмейстер Егоров.

— Отчего вы не любите Ивана Петровича? — спросил я однажды Андрея Тихоныча.

— Нельзя мне любить его, Андрей Петрович... Он — злодей мой.. Такую беду надо мной сделал, что представить себе не можете. Такая по милости этого подлеца со мной конфузия случилась, что вспомнить страшно!.. Ехидный человек!.. Самый злощий, самый жадный!..

Служение свое первоначально имел он в гусарском полку, но по скорости исключен за пьянство. И как же теперь он злословит ихнюю гусарскую службу, даже вчуже обидно. Уверяет, якобы гусары не кутят, и что у

них чуть кто выпьет да маленько пошутит, тотчас его вон из полка. «Хоть меня, говорит, взять — ну что такое я сделал? Выпивши, голый по базару прошелся, и за это — хлоп — из полка вон». Всячески злословит. «Какие, говорит, они кутилы; они, говорит, наперсточные кутилы, бабьими наперстками пьют». И здесь каждого человека обидеть готов.

На что я? На весь уезд пошлюсь, никто меня ни в чем не приметил. Так нет, и меня оскорбил по азартной своей нравственности. Да оскорбил-то как! Без ножа голову снял.

Покамест я по милости его превосходительства Александра Иваныча на сем месте «приустановлен» не был, проживание имел в губернии, а домик, что его превосходительство Полине Ивановне пожертвовали, отдавал под почтовую контору. Когда ж переехал в Бобылев, дому-то срок не вышел еще. Делать нечего, и от своего угла без малого два года в наемной квартире пришлось проживать, потому контракт, можно сказать, вещь священная.

А я, осмелюсь вам доложить, хоть на медные деньги обучен, но старших уважаю и долг почтения не забываю, для того что воспитан в страхе божием. Душу имею памятную, к благодарности склонную, для того, по христианскому обычаю, перед каждым праздником, не имея возможности, за отдаленностью расстояния, лично поздравлять его превосходительство Александра Иваныча, письменно свой долг исполняю. Посылал письма по государственной почте. Придешь, бывало, на почту: Иван Петрович письмо примет, гривенник получит — я и спокоен. И шло таким манером дело без мала два года.

Зачал меня «оброчным» звать. Встретится где, во все горло орет — через улицу, через площадь ли — все равно: «Здравствуй, оброчный! Красна пасха на дворе, оброк неси». А иной раз даже попрекнет: «Эй ты, оброчный, к вознесенью-то опоздал, смотри, брат, в недоимку со штрафом впишу».

А мне невдомек, что такое слова его означают. Какой, думаю, я ему оброчный? Под начальством не состою, зависимости не имею: какой же я ему оброчный? Раз даже в церкви, после обедни, таким прозвищем меня обозвал. Стали ко кресту подходить... Я, исправляя долг

почтения, благородных с праздником поздравляю, и ему, подлецу, свидетельствую почтение... А он поклониться-то поклонился, да, ослабившись, при всех и бухнул: «Спасибо, оброчный, за поздравление, и за оброк спасибо, что не запоздал...» Сердце меня взяло! Как же это в в самом деле?.. В храме господнем, при городничем, при исправнике, при дамах, при всех благородных, вдруг меня таким манером хватил!.. Не вытерпел, сказал ему: «Милостивый государь мой, говорю, я столповой дворянин и потому у вас на оброке состоять не могу, а ваши слова, милостивый государь мой, для меня бесчестны». Вспылил тут я сам немножко, обидел его при всех: «Милостивый государь *мой*» назвал. А он хоть бы что, несколько не обиделся, точно не ему сказано. Да еще говорит: «Хоша ты и столповой дворянин, а все ж мой оброчный...» Я от него в сторону пошел, думаю: «Господь с тобой, наругатель ты этакой».

Под конец контракта слышим Иван Петрович у Спиридонова дом покупает и контору к себе переводит, чтобы, знаете, и наймом квартиры не харчиться и с казны за контору деньги получать. Меня не прижимал, съехал даже до сроку.

Уж и отделал же он дом-от! Хуже харчевни сделал его: стены сургучом измазал, полы перегноил. Просто, с позволения вашего сказать, такая была гадость, что уму непостижимо!

Вижу, надо поновить. Тут, благодаря бога, его превосходительство Александр Иваныч в свою вотчину проезжать изволили и по душевному своему расположению леску мне пожаловали, плотников прислали, конопатки, гвоздочков и другого железа, сколько требовалось. Поисчинил я крышу, стены поисправил; думаю, кстати уж и полы-то перестелю,— плотники даровые. Тронули полы в большой комнате, где «приемная» была, гляжу: половицы-то еще хороши, поосели только, щели в палец шириной и больше. Оно, конечно, можно бы их и сколотить, да уж видно мне божеское напоминание было. Заколодило в голове: перестели да перестели. Что ж, думаю, перестелю, теплее будет, да и черный-от пол заодно поисправлю, золой его забью, чтоб не дуло.

— Сымай, братцы, полы,— говорю плотникам, а сам точно под каким-нибудь предчувствием состою...

Как принялись за топоры, как запустили их под половицы, как пошла у них работа, поверите ли?.. у меня мурашки по спине. И сердце-то болеет, и в голове-то ровно туман... Точно как будто сейчас растворится дверь, и войдет губернатор: «А сколько дел? А покажи-ка распорядительный!»

Вышел на двор освежиться. Слышу, плотники про бумаги толкуют. «Брось,— говорит старшой,— опосля все спалим».

Я к окну.

— Что, мол, у вас тут такое?

— Да вот,— говорят,— больно много бумаги под полом-то насовано... Надо быть в эту щель совали.

— Давай,— говорю,— сюда. Что такое?

Высыпали они мне за окошко ворох страшный... Угодники преподобные!.. Всё-то письма, всё-то письма!..

Которы распечатаны, у которых и печати целы. Одна печать,— письмо не тронуту, пять — вскрыто. На адреса куши невеликие: целковый, два, три, к солдатам больше, в полки.

А плотники подкидывают да подкидывают. Сот пять накидали... Господи боже мой!.. Нет же у человека совести, и начальства не боится.

Стал я ворох разбирать, а самого как лихоманка треплет. Думаю: злодей-от ведь без разбора письма под пол сажал... Ну, как я на государственный секрет наткнулся... Червь какой-нибудь, нуль этакой, какой-нибудь непременный, да вдруг в высшие соображения проникнет!.. Что тогда?.. Пропал, аки швед под Полтавой! Ох ты, господи, господи!..

А ведь никто как бог. Сказано: «На кого воззрю? токмо на смиренного». Так и мое дело. Государственных-то секретов и не было!

Батюшки!.. Мое письмо!.. К его превосходительству!.. Варом меня так и обдало!.. Лучше б государственный секрет узнал!.. Злодей, злодей!

Раз, два, три, четыре... все шестьдесят восемь, все до единого! Ирод ты этакой!..

Хоть бы одно распечатал! Любопытства-то даже не было. Бесчувствие-то какое ведь!.. Слеза меня прошибла... Вот оно «оброчный»-от!.. Гривенники-то брал, а письма под пол да под пол... Значит, я ему в самом деле перед каждым праздником по гривеннику оброку носил.

Пропадай они, гривенники!.. Его-то превосходительство, Александр-от Иваныч, что могут про меня сказать? «Неблагодарное животное», вот что могут сказать!.. Как же это в самом деле?.. Без малого два года и ни одного почтения!.. Господи, господа!..

Собрал я письма, связал в узелок; марш в нову контору... Иван Петрович в засаленном, сургучом залитом халате письма принимает — день-от почтовый был... Он было мне: «Здравствуй, оброчный!»

А я:

— Свинья ты, свинья, Иван Петрович! Бога не боишь ся и стыд забыл.

А он:

— Чем ты, оброчный, обиделся?

Я письма-то на стол и говорю: «Это что?»

А он и в конфузию не пришел, только спросил:

— Аль полы перестилаешь?..

— Просьбу, — говорю, — подам, под закон подведу тебя.

Зло-то меня, знаете, очень уж взяло.

А он хоть бы бровью моргнул.

По малом времени, однако, заговорил:

— А я, — говорит, — допрежде тебя рапорт пошлю, что, мол, оставил я при переезде на квартиру, в доме титулярного советника Подобедова пост-пакет с донесениями к разным министрам, пакеты с надписью «секретно» да сто тысяч казенных денег... И он-де, титулярный советник Подобедов, тот пост-пакет похитил... Что тогда скажешь? А?

Я так и обомлел. Вижу — дело-то хуже секретов.

Хотел изловчиться: «У меня, говорю, свидетели есть».

А он:

— Плотники, что ли? Так я, — говорит, — их отстраню, потому что они у тебя в услужении. На это, брат, статья есть.

Вижу: нет у человека стыда в глазах... Плюнул, пошел вон.

— Как же теперь поздравляете Александра Иваныча-то? — спросил я.

— Сотских из суда гоняю.

Петербург
1857.

ИМЕНИННЫЙ ПИРОГ

Это было еще задолго до крымской войны...¹

В одной из степных губерний, в захолустном городке Рожнове, пришлось мне прожить по одному делу больше месяца.

Однажды в воскресный день после обедни, когда «благородные» обыватели богоспасаемого града Рожнова, приложась ко кресту, поздравляли друг друга с праздником, уездный стряпчий Иван Семеныч Хоринский подошел ко мне.

— Сделайте такое одолжение,— говорил он с какими-то торжественными ужимками,— удостойте чести мой пирожок: Антон Михайлыч будут, Степан Васильич, Михайло Сергеич. Сделайте такое одолжение, удостойте!.. Сегодня я именинник.

Поздравив именинника, я обещался быть у него непременно.

— Только уж нельзя ли пораньше, Андрей Петрович: мы ведь люди простые, не столичные, привыкли рано. Сделайте милость, теперь же, прямо из церкви.

Затем, посуетившись среди «благородных», Иван Семеныч в алтарь пошел приглашать духовника своего, рожновского протопопа отца Симеона. Мимоходом тронул за плечо купца Дерюгина, торговавшего бакалеями, вином и другими жизненными потребностями и занимавшего на ту пору должность городского головы. Дерюгин оглянулся, именинник что-то шепнул ему, и голова с сияющим лицом поклонился стряпчему в пояс.

Погода была прекрасная. «Благородные» пешком пошли к Ивану Семенычу. Шел городничий Антон Михайлыч, шел исправник Степан Васильич, шел судья Михайло Сергеич, шел «непременный» Егор Матвеич, шел почтмейстер Иван Павлыч, шли и другие обоего пола «благородные». Две бородки примкнули к бритому сонму чиновных людей: одна украшала красное широкое лицо Дерюгина, другая густым лесом разрослась по румяному лицу касимовского купеческого брата Масляникова, бывшего прежде целовальником², а теперь управлявшего рожновским винным откупом.

¹ Крымская война — война 1853—1856 годов между Россией и коалицией Англии, Франции, Турции и Сардинии.

² Целовальник — продавец вина в питейных домах — кабаках.

Расходившиеся из церкви мещане и разночинцы почтительно снимали шапки и низко кланялись шествующему сонму властей, но никто не удостоился ответного поклона. Не гордость, не чванство причиной тому. Попадись благородный один на один любому мещанину, непременно б ответил ему поклоном и дружелюбно поговорил бы. Но, шествуя в сонме властей, как поклониться?.. Нельзя!..

Именинник встречал гостей на крылечке. Шумной толпой ввалили они в залу, а там столы уж уставлены яствами и питьями, задорно подстрекавшими зрение, обоняние и вкус нахлынувших гостей.

Люди мелкой сошки: столоначальники, или, как звали их по старине, «повытчики», городской голова, магистратский и думский секретари, учителя со штатным смотрителем, отец дьякон, остались в зале. Чинно рассевшись по стульям, скромно, впòлголоса вели они беседу о новейших происшествиях в городе Рожнове: о том, как в ушате с помоями затонула хохлатенькая курочка матушки протопопицы, как бабушка-повитуха Терентьевна, середь бела дня заглянув в нетоплёную баню, увидала на полке кикимору, как повытчика духовного правления Глорианского кладбищенский дьякон Гервасий застал в самую полночь в своем огороде купно с девицей Капитолиной Гервасиевной. Говорили, обсуждали, а сами с жадностью поглядывали на предстоявшую трапезу.

Гости первой статьи, ранга высокого: городничий, исправник, протопоп, управляющий откупом, судья, «непременный», заседатели уездного суда, почтмейстер, два секретаря из судов земского и уездного, казначей, винный пристав, продолжали шествие в гостиную, а там на диване сидела разряженная Катерина Васильевна, супруга Ивана Семеныча, с Анной Алексеевной, городничихой, да с Марьей Васильевной, исправницей. У дивана возле матери стояли два сына Ивана Семеныча, один лет девяти, другой восьми, оба в красных рубашечках, обшитых белыми шнурами. Дико смотрели мальчишки: старший мрачно ковырял пальцем в носу, а младший, увидя издали протопопову бороду, разинул рот, собираясь задать исправную ревку. Он не замедлил, братишка заворил ему, и Катерина Васильевна, схватив сыновей за руки, увлекла их в детскую и минут через пять воротилась к гостям, оправляя помятое платье.

Чай подали. Хоть русский человек до чаю охоч, но, в ожидании будущих благ, гости пили его не до поту лица. Вскоре хозяин пригласил сидевших в гостиной перейти в залу — водочки выкушать.

— Да ты бы сюда велел тащить,— молвил Иван Павлыч, почтмейстер, хвалившийся перед тем, что он всего Вòлтера наизусть вытвердил. Почтмейстер всем говорил «ты», и оттого все думали, что он вольнодумец и верует не в бога, а в Вòлтера¹. Иван Павлыч гордился тем.

— Помилуйте, Иван Павлыч,— с явным замешательством ответил ему именинник, ткнув пальцем по направлению к дивану.

Над диваном висел писанный масляными красками портрет пожилого господина в мундире, с красной лентой через левое плечо и с двумя звездами. Длинный, горбатый нос и глаза на выкате под наморщенными, щетинистыми бровями сурово глядели из ярко позолоченной рамы.

— Эк чего струсил! — захохотал почтмейстер. — Не живой, авось не укусит!..

— Все-таки подобие,— сдержанно молвил именинник. — Вам что?.. Вы ведь Вòлтер, а мы христиане.

— Да-с, могу сказать!.. — самодовольно ответил, поглядывая на меня, Иван Павлыч. — Могу сказать, что Вòлтера знаю... Ты бы, Иван Семеныч, хоть «Оду на разрушение Лиссабона»² раскусил, так и не стал бы призраков бояться... Ведь это призрак? — продолжал он, указывая на портрет. — Призрак ведь?.. А?

— Полноте вам!.. — беспокойно проговорил именинник, увлекая нечесаного Вòлтера к столу с графинами и графинчиками. — Вы бы лучше вот выкушали.

— Можно! — ответил почтмейстер и прошелся по водочке.

— Славная икорка! — заметил городничий, набивая рот хлебом, вплотную намазанным свежей зернистой икрой. — Из Саратова?

— Из Саратова,— ответил именинник.

— Хорошая икра. Что бы тебе, Маркелыч, такую держать? — сказал Антон Михайлыч стоявшему у притолки городскому голове.

¹ См. примеч. на стр. 3.

² «О да на разрушение Лиссабона» — произведение Вольтера.

Почтительно подойдя к «хозяину города», голова с низким поклоном и плутовской усмешкой промолвил:

— Несходно будет, ваше высокородие. Сами изволите знать, какой здесь расход.

— Мы бы стали брать: вот Степан Васильич, Алексей Петрович, Иван Семеныч, все...

— Нет, уж увольте, ваше высокородие. Ей-богу, несходно.

Прав был голова: несходно ему было хорошую вещь в лавке держать. Икра за прилавком не залежалась бы, в день либо в два расхватили б ее «благородные» — на книжку. А это значит: «пиши долг на двери, а получка в Твери».

— Пирог подан!.. — возгласил именинник. — Андрей Петрович, Антон Михайлыч, милости просим. Иван Павлыч, а повторить?

— Можно, — ответил почтмейстер и повторил в пятый либо в шестой раз. Ученик Вольтера придерживался российского, о виноградном отзывался презрительно, называя его свекольниковом.

Гости первого сорта вокруг стола уселись, мелкая сошка пили и ели стоя, барыни с Катериной Васильевной удалились в ее комнаты. Нельзя ж при кавалерах прихлебывать настоечки да наливочки.

Зашла беседа о железных дорогах. Стоявший за стульями штатный смотритель с приличной осторожностью осмелился доложить, что было б хорошо и даже необходимо для отечественного просвещения провести железную дорогу в Рожнов. Городничий закинул назад голову и, с презрением взглянув на смотрителя, молвил:

— Ишь чего захотел!

Штатный смотритель поперхнулся куском пирога и с глухим кашлем, наклоняясь и закрывая рот салфеткой, торопливо вышел в переднюю.

— А что ж?.. Недурно бы было, — сказал исправник. — С Волги живых стерлядей сюда бы возили.

Исправник, по собственному его выражению, имея «характер гастрономический», держал повара, привезенного из Москвы, и смотрел на обед как на цель человеческой жизни.

— Часты будут наезды из губернии, — ответил городничий. — Из мундира не вылезай. Да и накладно.

— Правда,— подтвердил сонм благородных. Согласился и гастроном-исправник.

По углам разговоры шли деловые. Только и слышно было:

— К вам послано было отношение, на это отношение вы отвечали...

— А по указу губернского правления...

— Недоимка выросла страшная, хоть ты тут тресни, ничего не поделаешь...

— А казенная палата и посылает указ...

— Ну, и заключить его в тюремный замок!

И за столом разговор с железных дорог на дела перешел.

— Деятельностью могу похвалиться,— говорил исправник.— Загляните когда-нибудь к нам в земский суд, Андрей Петрович,— посмотрите... Тридцать шесть тысяч исходящих!.. И до такого числа, могу сказать, я довел. При покойнике Алексее Алексеиче редкий год двадцать тысяч набиралось. При моей бытности, значит, в полтора раза деятельность умножилась. Дел теперь у меня... Ардалион Петрович!— крикнул он через стол секретарю земского суда.— Сколько у нас дел?

— По суду? — басом спросил секретарь.

— И по суду и у станowych, всего сколько?

— Тысяча восемьсот шестьдесят девять дел к первому числу показано,— пробасил Ардалион Петрович и хлопнул на лоб рюмку хересу.

— Возьмите вы это, Андрей Петрович, тысяча восемьсот шестьдесят девять дел. Средним числом хоть по двадцати листов на дело положить... ведь это... двадцать да шестнадцать... семнадцать... ведь это тридцать семь тысяч листов без малого. Да еще мало я кладу по двадцати листов на дело. Так изволите ли видеть, какова у нас деятельность!..

Слова исправника просьбицу означали: когда, дескать, увидите министра, скажите ему: «Есть, мол, ваше высокопревосходительство, в Рожнове исправник, Степан Васильич, отличный исправник, деятельный, привел уезд в цветущее, можно сказать, положение».

А вечером на сон грядущий так исправник мечтал: «Скачет от губернатора нарочный, скачет, скачет, прямо ко мне. «Пожалуйте, говорит, к губернатору для объяснения по делам службы». Еду, разумеется, не-

медленно, являюсь... А губернатор на шею ко мне. «Поздравляю, говорит, поздравляю, Степан Васильич, поздравляю!» А сам крестик из пакета вынимает, к мундиру мне прищипливает. Я, разумеется, в плечо его превосходительство, руку ловлю... Не дает. «Лучше, говорит, я тебя в губы...» Заманчиво, черт возьми! Ей-богу, заманчиво!.. Какой бы обеднице задал!.. Как свиней кормят пареной репой, так бы всех закармлил я трюфелями!.. Пирогов бы страсбургских выписал, омаров... На каждого по пирогу да по цельному омару!.. Такими бы дюшесами стол изукрасил, что кто б ни взглянул, так бы и обомлел».

Пиршество меж тем продолжалось. Именинник торопливо перебегал, от гостя к гостю, упрашивая ровно бог знает о какой милости побольше покушать. Напрасно он хлопотал, и без того гости охулки на руку не клали. Исчезло со столов пять кулебяк с визигой да с семгой, исчез чудовищный осетр, достойный украсить обеденный стол любого откупщика¹; исчезли бараньи котлеты с зеленым горошком и даровые рябчики, наштипованные не вполне свежим домашним салом. Все исчезло в бездне «благородных» утроб... Со славой те утробы поспорили бы с утробами поповскими... Про них, к общему удовольствию гостей, рожновский Вёлтер, обращаясь к отцу протопопу, сказал: «Сидит поп над псалтырью, другой поп с ним рядом. «Что б это означало,— спросил один,— бездна бездну призывает?» Другой отвечает: «Это, говорит, значит: поп попа в гости зовет».

Из-за стола встали грузны. Вёлтер хотел было домой идти, но, отыскивая картуз, сел нечаянно на стул у окошка и тотчас заснул.² Духовенство ушло, вслед за ним и мелкая сошка.

Оставшиеся завели речь про губернаторскую ревизию, потом заговорили о портрете, висевшем в гостиной именинника.

— Расскажи, Иван Семеныч, про портрет-от,— сказал городничий.

— Да вы ведь уж знаете, Антон Михайлыч,— несмело отозвался Иван Семеныч.— Зачем же повторять?

¹ Откупщик — владеющий откупом. Откуп — система взимания налогов, при которой государство продает частному лицу право взимания налогов с населения.

— Да вот наш гость дорогой, Андрей Петрович, не знает.

— Эх,— воскликнул Иван Семеныч, махнув рукою.— Не понять Андрею Петровичу!.. Мы ведь люди простые, степняки, не петербургские... Нет уж, Антон Михайлыч,— пущай его висит!.. Бог с ним!.. Мы ж теперь маленько подгуляли... Нехорошо в таком виде про такие дела говорить.

Неотступные просьбы поколебали именинника. Тихо подошел он к гостиной, осторожно притворил дверь и уселся в кружок. На лице его заметно было душевное волнение. Положил он широкие ладони на колена, свесил немного голову и, помолчавши, вполголоса начал рассказывать:

— Его превосходительство Алексей Михайлыч Оболенский, наш губернский предводитель,— его, Андрей Петрович, вы, конечно, имеете честь знать,— изволили лет пять тому назад в Рожновском уезде с аукциона купить заложенное и просроченное имение гвардии поручика Княжегорского, село Княжово с деревнями... В том селе дом был старый-престарый, комнаты — сараи, потолки со сводами, стены толстые, ровно московский Кремль. В стары-то годы, знаете, любили строиться прочно, чтоб строенью веку не было. Толсто, несуразно, зато прочно выходило.

Дом у Княжегорского был запакощен хуже не знай чего. Когда в нашей губернии вторая бригада восьмой дивизии стояла, он его под военный постой отдавал. И стены, и полы, и потолки в таком виде после христоролюбивого воинства остались, что самому небрезгливому человеку стоило только взглянуть, так, бывало, целый день тошнит... И в таком-то доме — слышим — его превосходительство Алексей Михайлыч желает по летам проживать. Очень ему понравилось местоположение Княжова.

С диву пали. «Как же это, думаем, его превосходительство Алексей Михайлыч, особа обращения деликатного, воспитания тонкого, в таком вертепе станет жить?» Однакож года через полтора его превосходительство, можно сказать, восьмое чудо сотворили: из запакощенного дома такой, могу вам доложить, соорудили, что хоть бы в Петербург возле государева дворца поставить.

Зимние сады, цветные стекла, бронзовые решетки, карнизы, из белого камня сеченные. Не дом — чертоги.

Так и ахают все, а его превосходительство Алексей Михайлыч изволят говорить: «Подождите, то ли еще будет!» И выписали они из Риги немца — Карла Иваныча, чтобы он княжовский дом живописью украсил. Приехал Карл Иваныч, а был он немец настоящий, ни единого то есть слова по-русски не разумел. После наторел, а на первых порах ровно полоумный был: ты ему говоришь дело, а он выпучит глаза да головой мотает. Смешной был немец!

Чего только он не натворил: потолки расписал, нагих Венер, купидонов и других языческих богов намалевал, и все-то они вышли у него народ здоровенный, матерой, любо-дорого посмотреть!

Живучи в Княжове, Карл Иваныч в Рожнове частенько бывал.

Подружился я с ним, когда он по-русски стал понимать. Мастер наливки был делать и все по рецептам. И меня теми рецептами снабдил. Наливочки, смею полагать, изряднехоньки. Андрей Петрович, сливяночки не прикажете ли, али вот поляниковки!.. Деликатес, могу доложить!..

Однажды приезжает немец в город, прямо ко мне.

— Что,— говорю,— Карл Иваныч, зачем бог принес?

— Дельце,— говорит,— Ифан Симонишь, есть.

— Какое дельце?

Пошел немец рассказывать.

Дело вот какое было. В ихней Немечине, в самой то есть в настоящей Немечине, в Ревеле, сродник помер у Карла Иваныча, и ему доводилось наследство получить. А как получить — не знает. По дружбе взялся я ходатайствовать, доверенность взял у него и пошел в Немечину бумаги писать. Возни много было, немцы — народ ремесленный: законов не разумеют... И присутственны-то места у них не как у людей: «обергерихты» да «гутманы», сам черт не разберет!.. А Карл Иваныч горячка: ему б в один день наследство взять безо всякой переписки. «Нет, говорю, брат, шалишь, не в порядке будет, ты повремени, а я стану писать, как следует». Насилу мог урезонить. Наставивши его на должный порядок, без малого полтора года вел его дела. Выслали напоследок Карлу Иванычу из ревельской Немечины шестьсот целковых.

Зарадовался. На козых своих ножках так и подпрыгивает, ручонки так и потирает...

— Сколько,— говорит,— надо, Ифан Симонишь, благодарности?

А я ему:

— Бог с тобой, Карл Иванович!.. С ума ты, что ли, спятил... Я хлопотал по дружбе, денег не возьму.

А он:

— Да мне,— говорит,— совестно, Ифан Симонишь.

Хороший был человек, даром что немец, совесть знал.

— А коли, говорю, совестно, так подари картинку своего писанья.

Так и запрыгал... Руку мне пожимает, меня же благодарит, что картинку у него потребовал... Слезы даже на глазах выступили. А не тому рад, что деньгами мне не поплатился. «Мне, говорит, то дорого, что вы, Ифан Симонишь, искусство любите».

А я ему:

— Уж там, брат, люблю ли я, нет ли, а картинку-то мне подай.

— Есть,— говорит,— у меня «Разбойник венецианский», младенца режет, да есть,— говорит,— «Итальянское утро», да есть,— говорит,— губернаторский портрет.

Разбойника взять поопасился. По должности неприлично... Стряпчий... У царского-то ока да вдруг разбойник в доме заведется?.. Хоть и не русский, а все нехорошо... Опять же супруга каждый год тяжела бывает, неравно на последних часах взглянет на «Разбойника» да испугается... Портрет взять, думаю, будет не по чину, смеяться бы не стали. «Какая-нибудь, дескать, пиголица, уездный стряпчий, а тоже подобие его превосходительства у себя имеет». Давай, говорю, «Итальянское утро». На том и решили.

Добрая неделя прошла, а «Утра» нет как нет... Стал я подумывать, не надул ли меня немец, по губам только не помазал ли? Однакож нет, везут из Княжова ящик аршина два длины, полтора ширины. Вот оно «Утро»-то!.. Честный человек, не надул.

Жену кликнул... Гляди, мол, «Утро» привезли. Дети прибежали.

— Папаса, папаса,— голосят,— это пастила, что ли?

— Нишкните,— говорю,— какая тут пастила! Тут

«Итальянское утро»: солнышко восходит, коровки идут, пастушок на свирелке играет.

Ребятишки так и запрыгали; один кричит: «Папаса, мне коловку!», другой голосит: «Папаса, мне пастуська!»

Как вскрыл да поставил я картину на стол, так даже охнул!.. Этакой ты бесстыжий, Карл Иваныч! К жене-тому человеку да такую пакость!.. Утра-то на картине вовсе нет: стоит молодая девка в одной рубаше, руки моет, рубашонка с плеч спущена, все наружи, рядом постель измятая... И другое житейское — все тут же!

Жена как взвизгнет да всплеснет руками. Плюнула на картину, говорит:

— Срамник ты, срамник этакой, Иван Семеныч!.. На старости лет пакостями вздумал заниматься!.. Я,— говорит,— отцу Симеону пожалуюсь, задал бы тебе на духу хорошенького нагоняя, епитимью¹ наложил бы. А меня, покамест эта мерзость в доме, ты и не знай.

Ушла и дверью хлопнула.

А ребятишки пальцами в картину тычут, кричат: «Кормилка! кормилка!» А кучер Гришка, что ящик в комнаты вносил, сзади стоит, ухмыляется да бормочет себе под нос: «Ровно кума Степанида».

— Вон все пошли! — крикнул я.

Остался один перед «Утром», разглядывать стал... Бес и ну смущать... Глаза масляные, с поволокой, зубы белые, сама дородная; смугла, зато грудиста, а волосы смоль, как есть смоль черные.

Гляжу, гляжу, а сам чувствую, как грех-от на душу лезет. Мурашки по спине... Дышишь — задыхаешься, в сердце ровно горячей иглой кольнуло тебя. Разбежались глаза... Хорошо намалевано! Да где ж «Утро-то итальянское»?

Вспомнил, что в законе, в браке то есть, состою — нечего, значит, на чужую красоту глаза пялить... Какую бог послал — той и держись, а на чужую не смей зариться, грешных мыслей не умножай!.. Так господь повелел... Греховодник ты, греховодник, Карл Иваныч! Вот оно в тихом-то болоте черти живут. Тихоня, скромник, бывало на курносую, рябую стряпку взглянет, так весь зардеет, а вот чем занимается!..

Жену кой-как усовестил, резоны ей представлял вся-

¹ Церковное наказание.

кие: даровому-де ко́ню, матушка, в зубы не смотрят, а тебе, говорю, опасаться нечего, девка не живая.

Степанидой попрекнула. А я ей:

— Степанида,— говорю,— матушка, вещь живая, и ты сама знаешь, что я теперь — ни-ни. А это,— говорю,— картина, вещь бездушная, греха от нее случиться не может.

Так да этак, уговорил Катерину Васильевну повесить картину в гостиной.

Повесили. Только стал я замечать, что моя Катерина Васильевна невеселá ходит, каждый раз, что ни пройдет через гостиную, плюнет. Иной раз всплакнет даже. Станешь что-нибудь говорить с лаской, а она: «Ступай, говорит, в гостиную, там у тебя «Итальянское утро».

Раздор семейный, несогласие!.. Ах ты, немец окаянный!

Рождество Христово подошло, с визитами все. Мужчины приедут — с «Утра» глаз не сводят, а барыни — хоть святых вон неси. «Человек вы немолодой, Иван Семеныч,— корят меня,— малых детей имеете, а такой соблазн в честной дом внесли... Бога не бойтесь!..» И ни одна, бывало, мимо картины не пройдет, чтобы не плюнуть!.. А небось, как у его превосходительства Алексея Михайлыча в Княжове балы бывают, так из угольной от Аполлоновой¹ статуи наших барынь плетью не отгонишь.

Житья не стало от окаянного «Утра». Отец Симеон началить стал: «Грех, говорит, в одной комнате со святыми иконами богомерзкое изображение держать».

Жаль было картинки. Не бросить же!.. Ежели в гостиной нельзя держать, перенесу ее в заднюю,— маленькая там у меня горенка есть, для прохлады...

Хуже стало. Весь Рожнов заговорил, что царское око в потаенный разврат ударился! Отец протопоп заходил, строго выговаривал.

Провались ты, думаю, окаянный немец, со своим «Итальянским утром»! Заколотил его в ящик, и назад в Княжово. «Давай,— пишу Карлу Иванычу,— губернатора».

О ту пору, как я «Утро» отправлял, его превосходительство господин губернатор у нас в Рожнове на ре-

¹ Аполлон — в древнегреческой мифологии бог солнца и света, покровитель искусств.

визии был. Приехал грозный и уехал грозный. Такой робости задал, так всех понастроил, что только господи ты боже!.. Во все сам входил: и сукно на столах охаял, и ковер, говорит, по закону должен быть... Заметил, что законы не за замком лежат, что стулья поломаны, на заднюю лестницу даже ходил. Всем досталось, а мне изволил сказать: «Ты ни за чем не смотришь, ничего не видишь!» Так и сказал... Ей-богу!

Думаю: «Ну как немца да продернет на портрете... Как угораздит его, чертова сына, без орденов изобразить. Повесить нельзя будет его превосходительства. Хуже «Итальянского утра» выйдет».

Везут ящик. Тут уж я ни жену, ни детей не позвал, вдвоем с Гришкой ящик вскрывали... Ах ты, немец окаянный!.. Звезду намалевал, а ленты нет... Да еще во фраке изобразил начальника-то губернии!.. А у фрака-то, можете себе вообразить, лацкан больше чем ползвезды закрывает.

А сходствия много; и смотрит грозно и руку за жилет. Так вот, кажется, сейчас и скажет: «А ты чего смотришь, дурак?»

Повесил я портрет в гостиной над диваном. Спервоначалу у нас в доме все посмирней пошло; и жена меньше ругается и развратом не попрекает. Кто ни придет, всякий, бывало, с почтением взирает. Один Иван Павлыч, ну да он что? Вóлтер, так Вóлтер и есть.

Заварилось той порой казусное дело. Окружной с откупщиком не поладил, каши ему наварил. Из-за выставок дело пошло. Знаете, выставка пятидесятидневная, а сидят с вином круглый год. Окружной взъерошился, дело поднял. Произвели следствие, в уездный суд представили, плохо откупщику. Сам прискакал... Заметался во все стороны: «Отцы, говорит, родные, выручайте». С окружным на мировую, с нами тоже.

Только что уехал он от меня, стою в гостиной, считаю благостыню. Поднял глаза, варом меня обдало! Его превосходительство глаза так и выпучил. «А! мошенник, попался!.. В моем виду берешь!.. А по Владимирке¹ хочешь?.. А?..» Руки с деньгами я за себя, сам думаю: «А в самом деле, неловко в присутствии его превосхо-

¹ В л а д и м и р к а — народное название этапного пути, по которому отправляли осужденных в Сибирь. Проходил через Владимир, Пермь, Томск и далее до Нерчинских рудников.

дительства якобы благодарно́сть получать. Оно, конечно, не в самоличности, однакож подобие».

Да сыскоса и глянул на портрет... диво, ей-богу!.. Не страшно.

«Однакож, думаю, что ж это за оказия?» Стал замечать: никто не боится портрета, даже и ребятишки. Старший-от у меня побойчее, без робости в гостиную ходит, запрыгает на одной ножке перед портретом, спустит рукава с ручонки, да и кричит во все горло: «Альмянин, альмянин, больсеносой альмянин!»

— Какой,— крикну ему,— армянин? Это начальник, ты должен иметь к нему уважение.

А он прыгает да твердит: «Не нацальник — альмянин!.. Не нацальник — альмянин...» Да все на одной ножке, да все на одной ножке. Сек два раза — неймется.

Цесарцы ¹ в Рожнов приехали, моя Катерина Васильевна и кликну их... Бабье дело, им бы хоть поглазеть на нарядные вещицы. Разложили цесарцы товары в зале. Жена и ну приставать: купи да купи ей браслетку да брошку. Я сначала будто не слышу, а как надоела, вызвал ее в гостиную, стал урезонивать.

— Образумься,— говорю,— матушка! Пристало ль тебе,— говорю,— браслеты да брошки носить? Ведь ты уж не молоденькая!..

Как ругнет меня!.. Да раз, да другой, и пошла, и пошла.

— Что ты,— говорю,— матушка, раскудахталась? Хоть бы его превосходительства постыдилась!

А Катерина Васильевна как захохочет, так даже и покати́лась.

— Дурак,— говорит,— ты, дурак... Какое это начальство? Это,— говорит,— тряпка малеванная! Это,— говорит,— вот что!..

Да как харкнет прямо в нос его превосходительства.

Я так и ахнул... А как прошло время, думаю, что ж это в самом деле? Не похож разве?

Стал больше замечания держать. Что за шут, прости господи... Никакой робости перед портретом... Что такое?.. До того дошло, что иной раз после пирушки голова развинтится,— тряпку с уксусом приложишь, трав-

¹ Цесарцами назывались мелкие торговцы, развозившие по городам и помещичьим деревням товары и лекарства. Они назывались и «венгерцами»... (Прим. автора.)

ничком опохмелишься да, принеся подушку в гостиную, положишь ее на диван, да в халате под портретом и ляжешь. Лежишь да посматриваешь, иной раз даже скажешь мысленно: «Ну что? Ну вот я и пьян и в суд не пошел, а ты ничего не можешь сделать, даром что губернатор». То есть, я вам доложу, ни малейшей робости. Тут только я догадался, что портрет-ог был привезен на другой день после того, как его превосходительство нам копоты задал. Со страху-то на первое время он грозно смотрел и уважение к себе вселял, а как дело-то поулеглось и портрет-от пригляделся, робости и не стало.

Не ловко дело. Ребятишки подрастают, и ежели мальчишки с малолетства не будут уважать начальство, что выйдет из них, как вырастут?.. Сохрани господи и помилуй от такого несчастья! Взял я отпуск дён на четырнадцать, в губернию поехал. Портрет с собой.

Там узнаю, что его превосходительство новой монаршей милостию взыскан, Владимира второй степени большого креста получить удостоился. Портрет-от, значит, я и кстати привез, другую звезду надо пририсовать.

Живет у нас в губернии Иван Лазарев, цараповский отпущенник. Живописью кормится: вывески по городу пишет и божьим милосердием отчасти промышляет, иконы то есть пишет, и хоша запивает, однако богомаз из наилучших. Портреты, кроме царских да его превосходительства, теперь перестал писать; портретная-де работа совсем подошла и совсем, почитай, перевелась с тех пор, как угораздило немца какого-то штуку выдумать: посади человека перед ящиком, портрет в ящике сам готов. Ни дать ни взять, как комедианты яичницу в шляпе стряпают. «Нечистая ль сила тут малует, другое ль что, только эти ящики,— говорит Иван Лазарев,— насущный хлеб у нашего брата отбили... Ведь на вывесках да на божьем милосердии далеко, говорит, не уедешь».

Я к нему, к Ивану Лазареву. Приятеля-то, Карла Иваныча, в нашей губернии тогда уж не было, в Немечину уехал. Говорю Лазареву: «Вот, братец ты мой, портрет его превосходительства, припиши ты другую звезду, в мундир наряди и в ленту, да в лице величия и строгости подпусти. Заодно уж и золотую раму спроворь».

Поладили за тридцать целковых кругом.

— Смотри же,— говорю,— не попорти, работа немецкая.

— Помилуйте,— говорит,— батюшка Иван Семеныч. Нам немецкая работа нипочем. Бывала в наших руках самая даже итальянская. Не самоучкой дошли до искусства, покойником барином из годов Ступину¹ в академическую школу был отдан. Десять лет, сударь, в Арзамасе выжил! Рафаэля можем писать.

— К тому я тебе говорю, Иван Лазарев, что руки-то у тебя больно трясутся.

— Это,— говорит,— ваше благородие, от пьянства. Запоем пью. А вы не сумлевайтесь; хоша рука и дрожит, однакож на губернаторских портретах шибко набита. Так я ее, сударь, набил, что вот хоть сейчас, в вашем виду, зажмурюсь и портрет напишу: в рост — так в рост, поясной — так поясной. Очень много заказывают.

Ждал я недолго. Несет Лазарев портрет. Переделал на диво. Своим добром хвалиться не велят, а тут уж просим извинения... Хорош! утаить нельзя.

Как принес его Иван Лазарев — взглянул я и глаза опустил.

— Спасибо,— говорю.— Вот твои деньги, вот еще полтинник на водку. Одолжил!..

— Питер, не губернатор,— говорит Иван Лазарев, отступив шага на три и закинувши голову.

— Именно,— говорю,— хоть в Питер такой портрет.

— Громы,— говорит,— мечет грозный зев².

— Грозён,— говорю,— действительно. И зев,— говорю,— у его превосходительства очень грозён. Зарычит на ревизии — душа в пятки уйдет. Ну,— говорю,— можно тебе чести приписать, Иван Лазарев, руки у тебя золотые. Жаль только, что руки-то золотые, да рыло поганое. Зачем не в меру пьешь?

— Эх, завей горе веревочкой!.. Прощайте, батюшка Иван Семеныч. Теперь за ваше здоровье запил Ванька, загулял.

Что ни знаю живописцев, до вина очень охочи. Хоть и Карла Иваныча взять: бывало, так нарежется, что и

¹ Ступин А. В. (1776—1861) — художник-педагог, основатель первой в России частной художественной школы. С 1809 года Академия художеств покровительствовала школе, а ее основателю присвоила звание академика.

² Иван Лазарев в Арзамасе у Ступина учился мифологии, знал про Зевса и Юпитера. Иван Семеныч, не получив классического образования, полагал, что ему он про Петербург да про губернаторский зев говорит. (Прим. автора.)

русскому не суметь! А из го́сподских, что отдают в ученье живописному, всё даются больше; барин учит-учит человека, а как только выученный малый поступит в барский дом, тотчас и задавится. Ну, и убыток!

Привожу домой обновленный портрет, вешаю на прежнее место. Тишина райская пошла. Жена ни гугу, а дети разревутся, нянька прямо их в гостиную. Покажет на портрет, скажет: «А вон бука-то!» Ребенок и стихнет.

Сами изволите видеть: и величие, и строгость, и важность — все. И две звезды и лента через плечо.

Случится в суд опоздать, так я из спальни через кухню, а мимо портрета не могу. Не вынесу, ей-богу не вынесу!

Да не я один... Помните, Антон Михайлыч, как в прошлом году я получение беспорочной пряжки праздновал. Этак же вот собрались все у меня, Андрей Петрович, только вечером. После ужина затеяли жженку варить. Середь гостиной стол поставили, свечи вынесли, зажгли жженку. Только вдруг вот Анто́н Михайлыч как закричит: «Убери, Иван Семеныч, убери поскорей!..» Взглянули, а от пламени-то личико его превосходительства так и морщится, так и хмурится. Пошел я к Катерине Васильевне, взял драдедамовый платок и с благоговением завесил портрет.

— Да, сходствие большое, — заметил, затягиваясь «Жуковым», Антон Михайлыч.

— Мечта! — заметил исправник.

— Хороша мечта! — возразил городничий. — А в прошлую ревизию как за мосты да за гати кого-то пудрили?.. Тоже мечта была?

— Нет, Степан Васильич, — подхватил именинник, — тут не мечта. На что Иван Павлыч, и тот перед портретом горла зря не распускает. Да где он?

Оглянулись. Во́лтер, сидя на стуле и склонив на окно буйную голову, спал богатырским сном. Пять экстр приди, десятка два эстафет приезжай, — не добудятся.

— Свалило, — мотнув головой, заметил городничий.

СОДЕРЖАНИЕ

Красильниковы	3
Поярков	22
Непременный	47
Именинный пирог	63



М А С С О В А Я С Е Р И Я

Редактор *О. Сафонова*
Художник *В. Милашевский*
Художественный редактор *К. Буров*
Технический редактор *И. Татарский*
Корректор *В. Знаменская*

✱

Сдано в набор 17/III 1955
Подписано к печати 15/IV 1955
А 03425. Бумага 84×108¹/₃₂—5 печ. л.
4,1 усл. печ. л. 4,15 уч.-изд. л.
Тираж 300000. Зак. № 608.
Цена 85 коп.

Гослитиздат,
Москва, Ново-Басманная, 19

✱

Книжная ф-ка им. Фрунзе Главиздата
Министерства культуры УССР.
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

85 коп.

ГОСЛИТИЗДАТ
1955